ГЕОРГИЙ КОСТАКИ

МОЙ АВАНГАРД

ВОСПОМИНАНИЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРА



MODUS
GRAFFITI

Издательство "Модус Граффити"

МОСКВА 1993

Воспоминания Г. Костаки

Подготовлены к печати	А. Костаки С. Ямщиковым
Фотографии на обложке	И. Пальмина

ISBN 5-85790-064-6

Георгий Костаки

МОЙ АВАНГАРД

ВОСПОМИНАНИЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРА

ОГЛАВЛЕНИЕ

АВАНГАРД ГЕОРГИЯ КОСТАКИ

Перед Вами воспоминания Георгия Дионисовича Костаки (Костакиса), человека выдающегося во многих отношениях. Грек по национальности, он родился и большую часть жизни прожил в России, лишь на склоне дней вернувшись на землю своих предков, где вскоре скончался.

У Георгия Дионисовича не было никакого специального художественного образования: самоучка, от природы наделенный любознательностью и вкусом, он нес в душе неистребимую тягу к прекрасному. Увлечение искусством привело к тому, что Костаки начал коллекционировать живопись, графику, иконы и стал коллекционером с мировым именем, обладателем уникальной галереи произведений русского авангарда и советских современных художников.

Деятельность, в которой он видел смысл своей жизни, в наших официальных кругах никогда не была оценена по достоинству. Сам он — во всяком случае, в предвоенные годы и послевоенные десятилетия — не афишировал ее: заграничный паспорт был слабой защитой от произвола властей в те времена, когда за одно упоминание имен художников-авангардистов человек рисковал быть репрессированным. Но Костаки рисковал — он первым в советской стране понял значение русского авангардизма в истории мирового искусства и стал искать и собирать рисунки, полотна, холсты... Он сохранил многое из того, что, будучи брошенным на произвол судьбы, пропало бы, кануло в лето.

В отличие от предшественников-меценатов, Костаки не обладал миллионным состоянием. Он всю жизнь трудился, содержал большую семью, все тяготы нашей жизни выносил на своих плечах. Ограниченность в средствах компенсировалась его страстной жаждой собирательства.

И вот настало время, когда о коллекции Костаки с почтением заговорили во всем мире. Каждый, кто приезжал в Москву, будь то крупный государственный деятель или простой художник, стремился побывать в квартире на проспекте Вернадского и познакомиться с его редким собранием. Только

"хозяева" московских музеев и их чиновные покровители из Министерства культуры чурались общения с ним.

Уезжая навсегда из России, Костаки оставил в дар Третьяковской галерее большую и лучшую часть своего собрания, оцененного западными специалистами в баснословные суммы.

Вместе с большим своим семейством Костаки поселился в Афинах. Уже через год выставки, составленные только из вывезенных им произведений, с триумфом начали путешествовать по самым престижным залам Европы, Америки и Канады. Роскошные каталоги этих выставок, видимо, раздразнили наших музейных лидеров, и они решили тихонько показывать костакиевские подарки на выставках. Но при этом почему-то "стеснялись" указывать, как это принято, фамилию их бывшего владельца. Надо ли говорить, как больно ранила такая "стыдливость" самолюбие Костаки!

После нескольких лет вынужденной разлуки в 1990 году я навестил Георгия Дионисовича в Афинах. Он был уже смертельно болен, но все же мне удалось снять его для телепрограммы. Демонстрация ленты совпала, к сожалению, с днем смерти этого замечательного человека.

Когда мы прощались, Георгий Дионисович вместе с дочерью Алики передал Д.С.Лихачеву как главе фонда культуры и тогдашнему министру культуры СССР Н.Н.Губенко предложение помочь и в организации в Москве Музея современного искусства. Он просил найти лишь подходящее помещение; деньги для реставрации и переоборудования он давал сам. Он надеялся, что основой музея станет коллекция русского авангарда, сотни работ, подаренных им Третьяковке, нынешние же художники будут постоянно дополнять ее своими произведениями. Это был вполне реальный и продуманный план: давно общаясь с различными художниками во всех концах России, я знаю об их готовности безвозмездно отдавать свои картины такому музею. Художники не хотят передавать свои вещи в знаменитые музеи, зная, что там они навсегда будут похоронены в запасниках. Однако министерские чиновники во главе с легендарным "руководителем" изобразительного искусства всей страны "непотопляемым" Г.П. Поповым сделали все, чтобы проект этот погиб.

Как водится в нашей стране, вместо музея, который мог бы носить его имя — а Костаки единственный из современников, который, как Третьяков или Щукин, имеет на это моральное право, — благодарные потомки чернят и оскорбляют его память. "В былые времена некий хитроумный грек, — пишет в "Культуре" О.Т.Иванов, — обойдя московские комуналки, составил коллекцию русского авангарда мирового значения "за так", "за кусочек колбасы", то есть практически даром. Последние свои дни он провел в полном достатке на исторической родине. Часть своей коллекции, впрочем, ему **пришлось оставить** (выделено мной — *С.Я.*) Третьяковской галерее" Это пишет бывший чиновник отдела культуры ЦК КПСС, в котором приложили не мало сил для того, чтобы страницы русского авангарда вообще выжечь из истории искусства, который обессмертил себя начальниками типа Шауро или Тумановой. Когда "хитроумный грек" собирал произведения русского авангарда, из отдела культуры ЦК спускали циркуляры, заставляющие списывать и уничтожать работы авангардистов из запасников провинциальных музеев. Оставлю на совести идеолога культуры его циничную ложь — правду о "кусочке колбасы" могут рассказать многие ныне известные художники андерграунда, такие, как Д.Краснопевцев, В.Немухин, Э.Зеленин, которым дружеские застолья в доме Костаки просто помогли выжить.

А не так давно в одном очень почитаемом журнале я прочел, что коллекция Костаки, оказывается, ему вовсе не принадлежала, он лишь исполнял обязанности хранителя ценностей, официальным владельцем которых являлся... КГБ.

Г.Костаки не может ответить клеветникам. Мертвые сраму не имут. Защищать честь покойника — дело живых.

Савелий Ямщиков

МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ

Самое первое детское воспоминание: трещит входная дверь, в дом врывается группа вооруженных людей...

Мы жили тогда в Большом Гнездниковском переулке рядом со Страстной площадью.

Семья была большая: пять человек — четверо нас братьев и сестра. Отец занимался коммерцией, до революции держали повара, судомойку, горничную. В общем, конечно, были "буржуями"!

И вот пятеро вооруженных до зубов, с пулеметными лентами на груди крест на крест, возбужденных агрессивных революционеров берут наш дом штурмом. А мы, дети, перепуганные до смерти, забились по углам.

Ворвавшиеся бросились к моему отцу, пытавшемуся на своем ломаном русском языке что-то им объяснить. Но это только усугубило положение. Иностранный шпион! Схватив отца, они поволокли его к двери. Рыдающая мать умоляла не трогать мужа... Но и ее правильный русский язык не возымел действия.

Отца утащили бы, но, к счастью, на шум выбежала прислуга — повар Дмитрий и горничные. Дмитрию отец незадолго до этих событий спас от ампутации руку — к ужасу матери, по совету старухи-судомойки, стал лечить начавшуюся гангрену, прикладывая на больное место плесень.

Надо сказать, что бывшие служащие жили у нас в доме по доброте душевной отца, который бесплатно предоставил им две комнаты во второй части квартиры, выходящей на Тверской бульвар.

Дмитрий с красным бантом в петлице решительно подошел к главному из ворвавшихся и заявил:

— Дионисия Спиридоновича не трогай. Он хороший человек: до революции никого не обижал и к людям у него работавшим хорошо относится.

Впоследствии отец узнал, что Дмитрий занял какой-то важный пост.

Напряжение спало, но на всякий случай начальник все же приказал своим людям осмотреть чердак. Вернувшись, они

сообщили, что кроме большой крысы на чердаке ничего не обнаружили. Все собрались уходить. Но тут их задержал Дмитрий, шепнувший что-то отцу. Получив от отца ключи, он поспешил в винный подвал и вернулся с несколькими бутылками. Мать дрожащими руками готовила что-то закусить. Когда сели за стол, главный, подняв рюмку, изрек:

— За твое здоровье, Дионисыч, а мы чуть было не пустили тебя в расход!

И тут же объяснил: неподалеку, на Никитской, час назад стреляли из пулемета, убили двоих детей и несколько взрослых. С наблюдательного пункта указали на чердак нашего дома — якобы оттуда вели обстрел.

Поблагодарив отца за угощение и не отказавшись взять несколько бутылок с собой, все пятеро поспешили осматривать соседние здания. Перед уходом главный достал из портупеи книжку, заполнил форменный бланк и вручил отцу:

— Это тебе, Дионисыч, вроде охранной грамоты. С этой бумагой тебя никто не тронет.

Этот эпизод врезался в мою память на всю жизнь. Прошло пятьдесят лет, а я помню повара Дмитрия и тех двух горничных, которые были с ним. Да, и люди, чуть было не расстрелявшие моего отца, никогда не вызывали во мне чувства ненависти. Позже, когда я начал подрастать, я часто слышал, как отец с матерью говорили, что революция в России была неизбежна, этого следовало ожидать. Не будучи к ней причастными, потерявшие все свое состояние, они критически относились к царскому строю, наивно думая, что новая власть улучшит жизнь простых людей... Несмотря на нужду и голод, слово "товарищ" сближало людей.

Но лубочные плакаты на заборах, изображавшие царя-батюшку с пузатым буржуем и подвыпившим попом, отца страшно возмущали. Он был человеком глубоко религиозным, и никогда не мог понять, как можно совмещать добро со злом и как люди могут жить без Бога и церкви.

На первых порах после революции большевики с церковью активно не боролись. На Пасху в церквях по-прежнему шла служба и благовест стоял над Москвой. К заутрене и всенощной первым ударял колокол Страстного монастыря, за ним — менее мощный с колокольни Дмитрия Солунского, стоящей

наискосок и все остальные церкви, что были тут в районе Тверской. Этот перезвон ласкал слух.

Москва в те годы была малолюдной. По Тверской цокали копыта еще уцелевших лошадей, запряженных в пролетки на дутых шинах. Лихачи важно восседали на козлах в синих поддевках и шапках с меховым околышем.

Начинался голод, но в нашей семье он не ощущался, у отца были большие запасы муки, круп, соли, в кладовых стояли бочки со смальцем. К счастью, их не конфисковали. Дмитрий, знавший о них, не сообщал куда следует. С его же помощью отец выпекал круглые хлеба небольших размеров, которые раздавались по утрам соседям — для этого использовалось парадное, куда Дмитрий приносил в больших корзинах теплый еще хлеб. Муки хватило на несколько месяцев.

Помню, что по просьбе Красного Креста отец начал кормить беспризорников. Каждое утро не меньше тридцати чумазых ребятишек размещались в двух больших залах; рацион состоял из ломтя хлеба, смазанного смальцем, стакана сладкого какао на воде (молока не было) и картофеля. Самым лакомым блюдом был омлет, приготовленный из яичного порошка, которым Красный Крест снабжал отца. Этот порошок был получен от АРА — американской благотворительной ассоциации, руководимой президентом Г.Гувером, направлявшим тогда продовольствие и одежду в помощь голодающим Поволжья.

На ребят было жалко смотреть. Съев омлет, они вылизывали тарелки так, что их можно было не мыть.

Почти у всех рубахи были усеяны полчищами вшей. В бывшей прачечной устроили что-то вроде бани, куда Дмитрий с трудом загонял беспризорников. Но баня не помогала. Чистая рубашка, большая редкость — подарок, полученный от той же АРА, на следующий день покрывалась еще большим количеством этих насекомых. Мыла не было, и ребята после бани появлялись в том же виде, в каком Дмитрий тащил их силком на пытку.

Благотворительное мероприятие отца продолжалось несколько месяцев, потом пришлось прекратить — мука кончилась... Мать, помню, упрекала отца, что он роздал все людям, ничего не оставив семье.

Мне было лет десять, когда отец решил взять меня к пасхальной заутрене в церковь Дмитрия Солунского (в тридцатые годы ее снесли, воздвигнув уродливый жилой дом, на первом этаже которого позже открыли армянский магазин и студию Коненкова).

Накануне родители всячески старались уложить меня днем спать, чтобы я мог выстоять заутреню. Напрасные усилия! Мне было не до сна: пойти с отцом к заутрене было моей давней мечтой.

В церковь мы пришли задолго до торжественного "Христос воскресе". Отец провел меня через служебный ход, и мы оказались рядом с алтарем.

Храм был тускло освещен, слышалось монотонное чтение псалмов. Время от времени священник кадил на иконы и молящихся и тут же исчезал через боковые двери. Запах ладана распространялся по церкви. Царские врата оставались закрытыми... Было ощущение, что все терпеливо чего-то ждут. И, наконец, этот момент настал!

Все озарилось ярким светом паникадил, украшенных цветами, воссиявшими вверху под сводами и осветившими клиросы. Храм ожил. Певчие спешили занять свои места. Паникадила, стоявшие на полу, сверкали, будто были сделаны из чистого серебра. Множество цветов, стоявших в корзинах, украшало иконы. От увиденного у меня заколотилось сердце — до этого я никогда и нигде не видел подобной красоты.

Началась пасхальная служба с приглашенным митрополитом Варфоломеем, при участии более пятидесяти священников и дьяков, облаченных в драгоценные стихари и ризы. Служба сопровождалась пением двух хоров, как бы соревновавшихся друг с другом: не успевал замолкнуть левый клирос, как с правого начиналось песнопение, прерываемое густым басом дьякона: "Господи помилуй...". Первый хор состоял из платных певцов-профессионалов, но очень часто в храмах на большие праздники пели знаменитые оперные певцы и певицы. Во втором хоре пели любители-прихожане, но и он звучал весьма профессионально.

Самое сильное впечатление на меня произвел митрополит Варфоломей. Его голову украшала митра с драгоценными

камнями и с боку от него стоял молодой дьячок и держал, прислуживая, его посох.

На вид митрополиту было лет сорок. Тонкими чертами он напоминал мне Христа. Выглядел Варфоломей уставшим. Бледность резко отличала его от остальных священнослужителей, стоявших справа и слева от него. Голос у него был слабый, но абсолютная тишина в храме доносила до слуха молящихся каждое слово.

Песнопения сменялись одно другим. Дьяконы затянули свое "Паки-паки, миром господу помолимся" — и хор ответил: "Тебе, Господи...". Затем все стихло, и как бы, в диссонанс слаженному хору, начали петь все священники. Они, казалось, пели нестройно, но их пение придавало еще больше торжества службе. Рядом со священниками стояли мальчики моего возраста, державшие длинные свечи, обрамленные золотой и серебряной каймой.

Помню, что мне почему-то хотелось плакать...

Проснувшись поутру на следующий день и окинув взором дом, в котором я вырос, я почувствовал себя несчастным: все выглядело убогим, в сравнении с тем, к чему я приобщился вчера. За обедом я попросил папу поговорить с отцом Александром, настоятелем церкви, не возьмет ли он меня прислуживать, как прислуживали мальчики, которых я видел.

Через неделю мне выдали стихарь и, счастливый, я начал почти каждый день бывать в церкви. Перед большими праздниками было так много работы, что я оставался иногда на ночь, засыпая на кипе стихарей в большом алтарном шкафу.

Мне очень нравилась моя работа. Вместе со мной было еще трое мальчиков. Иногда нам давали круглые подносы, с которыми мы обходили прихожан, бросавших на них монеты, а иногда и бумажные деньги. Не было случая, чтобы кто-нибудь из нас положил монету в карман, хотя соблазн был велик: за три копейки можно было купить две большие вкусные ириски, которые продавались с лотков.

— Крымский ирис, три копейки пара, — выкрикивал продавец.

Посещение церкви и общение с отцом Александром, который звал всех мальчиков по именам, рассказывал нам жития святых, благотворно отражались на нас.

Я помню случай с золотым обручальным кольцом, которое одна женщина обронила с третьего этажа на мостовую и все ребята нашего двора целый день не могли найти его. Бедная женщина была в отчаянии — ее муж, старообрядец, считал, что потеря обручального кольца — большое несчастье. Совершенно случайно, когда уже прекратились поиски, я нашел кольцо: оно лежало в глубокой выбоине, не заметное глазу. Не буду описывать радость женщины, которой я отнес кольцо, но не премину сказать, что сам я стал героем дня. Моей матери было приятно, когда ей говорили — какой честный и хороший мальчик Юра, — в семье меня так звали.

ДЕТСТВО НА ТВЕРСКОМ

У меня, конечно, были друзья-сверстники. Среди них самым близким — Шурка Андронов и его брат Вовка, сыновья партийных работников.

Жили они в соседнем доме, занимали одну большую комнату. Всякий раз, заходя к Шурке, я заставал его родителей среди бела дня в пижамах, лежащими на большой кровати, с книгами или бумагами в руках. Помимо большого письменного стола, заставленного всякой всячиной, заваленного газетами, нескольких венских стульев и раскладушек, в комнате ничего не было. С потолка свисала засиженная мухами электрическая лампочка без абажура. Единственным предметом, придававшим комнате солидность, был без конца звонивший телефон.

Шурика Андронова, нашего вожака, любили за то, что он лучше других организовывал интересные игры. Он знал наизусть все марки машин и частенько пропадал на стоянку прокатных машин и такси на Страстной площади.

Одна из машин принадлежала моим братьям Спире и Николаю, которые решили в годы нэпа заняться прокатом. Черные лимузины невероятной высоты с желтыми полосами стояли, поджидая клиентов. Обычно машин на стоянке было семь-восемь. Каждый водитель-хозяин или нанятый шофер имел так называемого подсадчика, в чьи обязанности входило заманивать пассажиров и содержать в чистоте автомобиль.

Прокатное дело было очень выгодным, хороший день позволял кормить семью неделю. За несколько праздничных дней получали больше, чем за два месяца. Беда, если на Пасху или Рождество сломалась машина или не было резины — это было катастрофой.

Резина подводила чаще всего, достать ее было трудно. Приходилось покупать случайно попавшуюся резину меньшего чем нужно размера, ее пытались распаривать в больших чанах в китайских прачечных, в надежде натянуть на обод.

На Страстной обычно стояли две машины с опущенными занавесками, которые курсировали от Страстной до Петровско-Разумовского — примерно десять километров. В этих машинах возили проституток с клиентами. По возвращению на стоянку подсадчик, приводя карету в порядок, заметал использованные презервативы, которые тут же подхватывались беспризорниками, надувавшими их.

Возвращаясь со стоянки, Шурка рассказывал, какие там появились новые марки машин.

Кто бы мог подумать, что этот детский интерес в дальнейшем выльется в создание конструктором Александром Федоровичем Андроновым первого "Москвича"! А в те годы он агитировал нас построить деревянный педальный автомобиль и предпринять путешествие в Крым или на Кавказ, где, нам казалось, таятся необнаруженные клады. Мы решили сделать автомобиль и отправить его поездом, так как путь далек и не стоит рисковать, а уж там покатаемся!

В результате нашей конструкторской работы с венских стульев начали слетать обода, но — зря! Они оказались слишком тонки. Пришлось искать более толстые. На очередной сходке было решено, что каждый, имеющий венские стулья, унесет их из дома и прихватит еще что-нибудь подходящее из мебели. Колька, сын кустаря, отказался, заявив, что отец его за это убьет. Причина была уважительная, и Кольку мы оставили в покое.

Конструирование автомобиля Шурка взял на себя. Но как отправляться в столь далекое путешествие без денег! Помимо всего нужны были лопаты, веревки, финские ножи. Неплохо бы достать "Монте Кристо" — небольшой, но настоящий пистолет...

Из всех ребят я был сыном самых состоятельных родителей, и мне поручили достать деньги. Я воспротивился:

— Вы хотите, чтобы я залез в карман к отцу!

Первым, кто со мной согласился, был Шурка. Но мысль о путешествии не покидала нас. Очень уж хотелось попутешествовать и найти клад.

Помимо трех братьев Спиридона, Николая и Мити у меня еще была старшая сестра Марика. Ее муж Федор Христофорович Метакса, умерший впоследствии от тифа, происходил из очень богатой греческой семьи, был хорошо образован и говорил на многих языках. (Много лет спустя Святослав Рихтер как-то мне сказал, что дружит с одним из родственников Федора, который живет, кажется во Франции и является владельцем фирмы грампластинок, на которых были записаны его последние концерты).

Будучи деспотичным, Федор относился к сестре, как к прислуге. Мог устроить скандал из-за оторванной пуговицы. С сестрой ничем не делился, поэтому у нас в семье никто не знал, что оставшиеся после смерти Федора два альбома с редчайшими марками, купленные еще его дедом за баснословную сумму на аукционе в Лондоне, представляют большую ценность. Эти альбомы сестра подарила мне в один из дней рождения. По прошествии некоторого времени я продал эти альбомы, с разрешения сестры, чтобы купить велосипед. Купил альбомы японец. С большим портфелем, в белоснежной рубашке, в очках. Его я встретил у филателистического магазина. Японец, вместо просимых мною денег на велосипед, дал мне все червонцы, которые у него были. Опытный филателист, раскрыв альбом, он сразу понял, что держит в руках. Денег хватило на несколько велосипедов, но еще осталось на аренду дома на лето. Все были счастливы.

Огорчение пришло год спустя, когда приехали опекуны из Греции, чтобы сообщить сестре, что ей с сыном причитается крупная сумма в английских фунтах. Опекуны заявили, что семья Метакса хочет, чтобы ребенка отправили в Англию, где он должен получить соответствующее образование. Сестра наотрез отказалась, заявив, что не отдаст единственного сына, он должен остаться при ней. Затем опекуны спросили про альбомы и, сестра сказала им, что марки проданы, они поблед-

нели как полотно. Сестра продолжала жить в отцовском доме и те небольшие сбережения, которые у нее остались от мужа, она не тратила, приберегая их для сына.

Все это я рассказываю к тому, что деньги у сестры лежали в одном из ящиков комода, который, конечно, не запирался. И вот однажды, когда мы, в который раз, говорили о том, где достать деньги, бес дернул сказать про эти деньги.

Приближалась весна. С автомобилем пока ничего не получалось. Он с трудом двигался по асфальту двора. Приходилось его толкать. Всем было ясно, что ни по каким горам он не поедет. Решили, что поедем на поезде, а для гор купим специальную обувь. Колька сказал, что еще обязательно нужно купить палатку, так как в горах, говорят, ночью холодно.

На следующий день я украл у сестры деньги. Друзья успокаивали меня, что как только мы найдем клад — половину тут же отдадим сестре, а остальные разделим...

Прошло десять дней. Все было спокойно. Возможно сестра не заглядывала в ящик, а может, не пересчитывала деньги. Она могла не обнаружить пропажу — я взял из ящика треть суммы. Мы успели истратить меньше половины. Накупили всякой всячины, в том числе и палатку, но самой замечательной покупкой были финские ножи. Это оружие должно было храниться у каждого из нас. Я ничего лучшего не придумал, как, отодвинув шкаф, повесил финку на гвоздь. В висячем положении она скорее напоминала селедку, чем грозное оружие.

Дело шло к Пасхе. И тут пропажа денег была обнаружена! Все терялись в догадках. Подумать на кого-нибудь из своих, на прислугу, исключалось. Разумеется, и я после своего честного поступка с кольцом был вне подозрений.

О пропаже стали постепенно забывать, кто-то высказывал предположение, что деньги мог украсть жулик, проникший в окно со двора, неясно было только, почему он взял только часть? Может быть, у жуликов иногда пробуждается совесть? Когда я все это слышал, мне хотелось броситься на колени перед родными, признаться во всем и просить прощения. Но я трусил и мучался.

К Пасхе, как всегда, в доме началась уборка. Поля, наша старая горничная, убирая мою комнату, почему-то решила отодвинуть шкаф, посмотреть, нет ли там паутины, и, увидев нож, с раздирающим душу криком выбежала из комнаты, зовя на помощь.

Все ринулись в мою комнату, а я, поняв в чем дело, выскочил на улицу и побежал к Шурке, сообщить ужасную новость.

Вернулся я поздно вечером. Старшие братья уже были дома, вся семья в сборе. Пробравшись не замеченным в свою комнату (бабушка, любившая меня больше всех, впустила меня через окно своей комнаты), я улегся в постель. До моего слуха доходили отрывки фраз, из которых я понял, что речь идет о моем поступке. Старший брат, Спира, возмущался больше всех. Из разговора я понял, что кроме финки были найдены и остатки денег, спрятанные у меня под матрасом.

Спустя некоторое время дверь в мою спальню открылась. Щелкнул выключатель, и я увидел вошедших. Мой старший брат Спиридон решительно направился к моей кровати. Увидев ремень, я покрепче сомкнул глаза и притворился спящим. Помню, как отец, пытаясь остановить брата, просил: "Не трогай мальчика, пусть он спит". На что брат ответил: "Папа, какой он мальчик, он — вор".

Эти слова любимого брата так ранили меня, что я готов был умереть от горя. Спиридон сорвал с меня одеяло, повернул животом вниз и начал хлестать ремнем по голой заднице. Уговоры отца прекратить порку не возымели успеха. Спира порол меня, приговаривая: "Я покажу тебе, как воровать деньги". Когда экзекуция закончилась и погас свет, несмотря на то, что зад гудел, на душе стало легче. Я долго не мог заснуть и плакал не от боли, а от жалости к себе. Проснувшись утром, я провел рукой по распухшим местам. Долго мне не удастся сесть на велосипед! В то утро рядом с подушкой не оказалось белой картонки, перевязанной ленточкой, с кистью винограда или яблоками, которые каждое утро ждали меня. Но хуже всего было то, что в доме меня стали игнорировать. Даже мой добрый отец и тот переменился ко мне. Единственным другом осталась бабушка "ненека", как мы звали ее по-гречески, прощавшая мне все...

Я был баловнем всей семьи и теперь, внезапно отвергнутый, очень страдал. Спустя неделю, я решил уйти из дома. Денег у меня не было. Собрав кое-какие вещички и запасясь хлебом, я отправился на Савеловский вокзал, с которого мы обычно ездили на дачу. В толпе я без билета сел в поезд, не имея представления, куда он идет. Моей целью было как

можно дальше уехать из Москвы, чтобы заставить страдать всех родных...

В пропахшем махоркой тускло освещенном вагоне я не замеченным юркнул под лавку, и улегся, подложив под голову мешок. Поезд тронулся. Я решил ехать до конечной станции.

Постепенно в вагоне стало жарко и накурено. Ко всему этому начал распространяться терпкий запах потных ног, которыми я был окружен со всех сторон. Поезд шел не спеша, выбивая колесную дробь, меня стало клонить ко сну. На скамейках заерзали — в вагон вошли контролеры.

— Граждане, приготовьте билеты, — донеслось до моего слуха. Они подошли совсем близко, и я отчетливо слышал щелканье компостера, пробивающего дырки в билетах. Затем контролер обратился к сидящей с краю бабе, попросил ее встать, вслед за этим я ощутил прикосновение какого-то предмета, задевшего меня по ноге, затем этот предмет врезался мне в живот, отчего я вскрикнул.

— А ну, вылезай, — послышалось сверху, и чья-то сильная рука, схватив меня за ноги, выволокла из-под лавки.

К моему великому удивлению, вытащившие меня вели себя так, будто ничего особенного не произошло: извлечение безбилетников было делом для них привычным. Этим способом пользовались новички, а опытные беспризорники предпочитали крыши вагонов или бункеры паровозов, где они зарывались в уголь. Места под лавками были самыми уязвимыми.

Но доброта русской души сказалась и здесь: окружавшие меня женщины спросили, не голоден ли я и покормили. Один из контролеров, оставшись со мной, терпеливо ждал, пока я поем. Меня высадили на какой-то большой станции остановки через две и сдали оперуполномоченному.

Ночь я провел с беспризорниками, а утренним поездом меня отправили в Москву. Спустя несколько часов приехали отец с братом и забрали меня. Все были счастливы, что я нашелся. Никто больше не ругал меня.

Но этот семейный инцидент не прошел бесследно: мать стала уговаривать отца уехать из Москвы и поселиться за городом. "Чтобы спасти мальчиков" — как она выразилась. Имелся в виду и подраставший брат Митя.

Помимо истории с деньгами, мать не могла забыть, как однажды зимой, уйдя кататься на коньках, я вернулся домой с синяком под глазом, изрядно помятый.

Тверской бульвар, плотно укатанный санками, на которых няньки возили детей, многие ребята использовали как каток. Коньки, привернутые веревками к валенкам, прекрасно скользили по утоптанному насту бульвара, разгоняя визжащих нянек. Тверской бульвар соединял две площади, Никитскую и Страстную. Мальчишки с этих площадей враждовали между собой и часто, договариваясь через своих атаманов, "стыкались" -дрались. С каждой стороны бывало по 16-20 ребят на коньках. Первыми встречались атаманы. Они жали друг другу руки, затем предъявляли притензии по поводу того, что кто-то кого-то когда-то ударил и пр. Между атаманами завязывалась драка, За ними вступали и остальные. Дрались на коньках. Я, признаться, избегал этих побоищ и никогда в них не участвовал, оставаясь сторонним наблюдателем. Но в один из дней предводитель наших ребят заболел, и мне была оказана честь занять его место, и я, естественно, не отказался. По традиции мы съехались, обменяться рукопожатиями, сказали что-то друг другу, и в тот же момент, не успев опомниться, я получил сильный удар в лицо и чуть было не упал. Вторым ударом я был сбит с ног, а мой противник, откатившись в сторону, высматривал другого более достойного соперника. При падении один конек свернулся на бок, и я, прихрамывая, заковылял к соседней аллее. Сгорая от стыда, я побрел домой.

Несмотря на то, что у отца оставались кое-какие деньги — все, что было в банке, пропало! — семья испытывала нужду, ртов-то было много, держали еще двух прислуг. Зато дом был набит вещами — посудой, вилками, ложками и мои братья решили начать торговлю домашним скарбом.

Шел НЭП. На Трубном рынке в те годы стояли палатки, торговавшие всевозможными товарами и продуктами. У братьев денег на палатку не нашлось, и они решили довольствоваться тем, что постелили на землю мешки и разложили свой товар. После двух-трех проливных дождей сколотили переносной каркас, накрыв его сверху фанерой. Установлен-

ный под большим листом фанеры ящик служил прилавком. Получилось что-то вроде маленькой палатки.

А уже через год там же на Трубном рынке появилась большая палатка метров 15 длиной и три шириной. Торговали электротоварами, включая люстры. Год спустя компаньон снял большое подвальное помещение на Пятницкой, откуда электротовары отпускались оптом. Там же можно было приобрести и элетромоторы большой мощности, которые покупали владельцы колбасных фабрик и других мелких предприятий, которые тогда росли в годы НЭПа как грибы после дождя.

Дома стали поговаривать, что квартиру придется скоро освободить издательству журнала "Огонек", которое занимало этаж над нами, потребовалось еще помещение.

Окна "Огонька" выходили на Тверской бульвар, наискосок от памятника Пушкину. Это было излюбленное место наших игр. Новенькие, пахнувшие краской первые советские грузовики АМО подъезжали сюда и грузились кипами журналов. Грузчиков не хватало, и ребятам разрешалось помогать при погрузке, за что нас катали. Верх блаженства! Особенно было приятно, когда, невзирая на ухабы, быстро мчавшийся грузовик подбрасывал ребят вместе с танцующими кипами, готовыми вывалиться за борт кузова. Такие поездки были уделом счастливчиков.

Вторым удовольствием было катание на буферах и подножках трамваев, что нередко кончалось потерей рук или ног.

Пределом мечтаний был велосипед. Из всех ребят, с которыми я был знаком, велосипед был только у меня, и чтобы не вызывать зависти, я на нем почти не катался. К тому же родители, боявшиеся, что я могу попасть под грузовик, разрешали мне кататься только летом на даче. Но там это было еще сложнее: стоило мне появиться на велосипеде, как гурьба белобрысых ребят начинала меня преследовать. Они бежали за велосипедом, поднимая босыми ногами клубы пыли, бежали до тех пор, пока я не скрывался из поля зрения. Взрослые ребята за мной не бегали. Они с завистью смотрели на блестящий велосипед и иногда просили дать покататься. Но так как никто из них до этого на велосипед не садился, пропетляв несколько метров, они влетали в канаву или в забор, после чего отцу приходилось везти колесо в Москву ремонтировать.

Очень популярной была у нас игра в расшибалку. На асфальте проводилась черта, на которую столбиками ставили монеты, решкой кверху. Отойдя метров на восемь, игравший бросал большую медную монету. При ударе она должна была перевернуться на орла. Тот, кто попадал на кон, забирал все монеты.

Однажды не успели мы сделать трех-четырех бросков, как в начале переулка появилась большая группа людей, направлявшихся в нашу сторону. Из окон стали высовываться головы любопытных. Вели самого страшного по этим временам преступника, Комарова, убившего не один десяток людей. Впереди процессии шел тщедушный, небольшого роста человек с бородой — это был Комаров. Справа и слева от него шел конвой с саблями наголо, по четыре человека с каждой стороны. За ним плелась лошаденка, запряженная в телегу, в которой сидели две женщины: жена и дочь Комарова. Процессия направлялась к Малому Гнездниковскому переулку, где тогда находился уголовный розыск.

Этот страшный человек, если можно его назвать человеком, на протяжении многих лет появлялся на Конном рынке у Калужской заставы, ведя под уздцы сытого лоснящегося коня. Быстро найдя покупателя, Комаров для завершения сделки приглашал его домой — жил в избе рядом с Конной. Во время чаепития выбирал удобный момент и привычным ударом бил заранее приготовленным молотком в переносицу жертвы. С помощью жены и дочери убийца разрубал труп на куски, складывал их в плотные мешки, к которым привязывали большие камни. Когда темнело, Комаров направлялся к Москва-реке, где бесшумно опускал камни в воду. Неизвестно, сколько еще невинных душ загубил бы этот злодей, не выдай его дочь. После возникшей между ними ссоры отец пригрозил и ее сунуть в мешок. Комарова и жену расстреляли. На суде этот негодяй просил сохранить ему жизнь, предложив себя в палачи, но от его услуг отказались.

Как-то, проходя по двору церкви, я увидел большой грузовик. Развернувшись, шофер подал машину задом к паперти. Вышло несколько человек. Один из них в кожаной куртке, остальные одеты попроще. К ним вышли отец Александр и староста церкви, оба сильно взволнованные. Из обрывков разговора я понял, что хотят что-то забрать из церкви.

Тот, что в куртке, производил впечатление интеллигентного человека, остальные — простые русские мужики средних лет. До меня долетела одна фраза: "Вы как священник должны понять, что это делается для блага народа, в старину снимали колокола для спасения Родины". У меня екнуло сердце: неужели снимут колокола, в которые я иногда звонил, когда у звонаря Никанора открывалась ночью рана, полученная в русско-японскую войну.

На этот раз колокола оставили на месте. Стали снимать с больших икон ризы из белого металла, покрытого серебром. В чистом серебре были небольшие иконы, находившиеся на аналое, да в алтаре несколько серебряных потиров и крышки Евангелий. К счастью, их не тронули.

Мужики, вооружившись топорами и клещами, начали оголять иконостас. Один из них вошел в церковь в головном уборе, но по требованию старосты, тут же снял его. Содранные с икон ризы кидали в кузов грузовика. Сидевшие во дворе на лавочке бабы, бросились к грузовику, пытаясь вырвать святыни из рук охальников, как они их называли. Когда грузовик наполнился ризами, эти русские мужики, когда-то крещеные и крестившие лбы, начали грязными сапогами уминать то, к чему еще вчера прикасались губы. Страшно было смотреть на это злодеяние.

Я вспомнил рассказ отца о том, как греки спасали свои святыни во время турецкого ига, нередко подвергая себя смертельной опасности. Будучи совсем маленьким мальчишкой, я не мог понять, как русский мужик мог дойти до такого кощунства и богохульства! В первый раз за все мои годы детства я ощутил, если не ненависть, то большую неприязнь и страх перед теми, кого вчера еще любил. Шуркин отец, дядя Федя, которого я считал добрым и хорошим, теперь ассоциировался с тем интеллигентным человеком в кожаной куртке. Не доходившие раньше до моего сознания частушки безбожников:

"Долой, долой монахов,
долой, долой попов,
мы на небо залезем,
разгоним всех богов",

казавшиеся мне чушью и уделом молодых хулиганов, теперь звучали более реально; от слов начали переходить к делу.

Стали доходить до сознания и слова гимна, которые ранее казались мне тоже нереальными: "Весь мир насилья мы разрушим". Как это можно разрушить весь мир? — я не понимал этого. Но вот "кто был ничем, тот станет всем" — это было близко моему детскому восприятию. Разве это плохо? Это именно то, чего ждут все люди.

В тот день, когда груженый автомобиль выехал со двора, в сердце моем что-то оборвалось: было ощущение, что вместе с ризами и у меня что-то украли, и безвозвратно.

Через несколько дней я заявил своему другу Шурке Егорову, что я ухожу из форпоста, членом которого был последних несколько лет.

В те годы ребята по собственной инициативе устраивали что-то вроде красного уголка, где с любовью сами развешивали портреты вождей, украшали их красными лентами, в углу устанавливали красный флаг. Перед портретом Ленина в вазочке обычно стояли цветы. Там же помещалась небольшая библиотека с книгами революционного содержания и пр. Раза два в неделю мы собирались, вели протоколы заседаний, организовывали походы. Теперь это все звучит парадоксально, но тогда все так и было.

Шуркины родители хоть и были партийцами, не садились за стол, не перекрестив лба. Отец каждый вечер ходил ко всенощной. Мать, Зинаида Георгиевна — добрейшая женщина, тоже бывала в церкви. В комнате висели иконы...

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Жизнь шла своим чередом. Мать упаковывала вещи, готовясь к отъезду. Весной мы должны были освободить квартиру, и мать с нетерпением ждала этого дня. Младший брат, перелезая через изгородь бульвара, повис щекой на острие забора. Истекавшего кровью Митю отец на руках отнес в кабинет известного тогда доктора Ярхо и тот зашил рану. Красный рубец остался на всю жизнь.

Ранней весной, когда началась капель, семья была готова к отъезду.

Наша новая жизнь началась в деревне Вырубово, в 20-ти километрах от Москвы. Ближайшая сельская школа находилась в селе Одинцово в шести километрах от деревни, куда мне приходилось ходить пешком. Особенно трудно было в ненастную погоду, когда поземка пронизывала тело до костей, а метель больно хлестала в лицо. Иногда местные крестьяне возили своих детей в розвальнях, тогда брали и меня с собой. Я блаженствовал, укрываясь теплыми овчинами, прижавшись к моим деревенским друзьям. По пути в школу мы проверяли, у кого какие ответы к задачам и читали выученные стихи. Школа была небольшая, каменная, всего в ней было семь комнат. В школе всегда было тепло — крестьяне по очереди привозили дрова. С учебниками и тетрадями было туго, зато входившая тогда в моду стенная газета вывешивалась регулярно. Одевались плохо, правда, все носили валенки.

Рядом со школой стояла церковь, на больших железных воротах которой висел огромный замок. Брошенная без присмотра, она имела сиротливый вид, где-то высоко на крыше, бесшумно шевеля желтыми листьями, покачивалась тонкая березка.

Другое дело чайная! Там как в старые добрые времена за прилавком в расшитой косоворотке стоял сам хозяин. Рядом с чайной часто стояли рассупоненные лошади, привязанные к столбам, помахивая хвостами, жевали овес.

В чайной деревянные полы были выскоблены добела, большой блестящий самовар, стоявший в углу, уютно попыхивал. Опрятно одетые бабы разносили большие чайники, расписанные петухами. Прилавок был уставлен толстыми кренделями чайной колбасы, вареными яйцами и всякой другой снедью. Справа и слева висели огромные связки сдобных баранок. Крестьяне-извозчики, чинно сидя за столами без головных уборов, мирно о чем-то разговаривали, гоняли чаи и вытирали вспотевшие лица чистым полотенцем. Я иногда забегал туда за тульским пряником, и как-то осмелился и попросил кусок чайной колбасы. Какая это была колбаса! Я помню, чуть язык не проглотил от удовольствия.

Там же, в Одинцове, в небольшой лавке можно было купить пожалуй все: пуговицы, иголки, сахар, колбасу, муку, косы, серпы... На улице стояли две большие бочки: из одной

отпускали керосин, из другой — подсолнечное масло. Тут же продавались картузы и сапоги. Хозяин и его жена, резко отличавшиеся от местного населения смуглостью лица и непривычным говором, поначалу вызывали у многих недоверие. "Нашего ли Бога люди?" — спрашивали местные. Помогла баня: в парилке, где мужики усердно хлестали себя вениками, появился хозяин лавки, на шее которого висел крест — мужики вздохнули с облегчением. Слух об этом дошел даже до нашей школы. "Не еврей", — говорили ребята друг другу и чаще стали бегать в лавку за конфетами. Бедных евреев тогда не любили. Особую неприязнь к ним питали крестьяне и простой люд, нередко называя их жидами.

"Жиды нашего Христа распяли" — говорили они, не имея понятия, что Спаситель и сам был из иудеев.

Помню вскоре после того, как мы приехали, мать пошла в соседний дом за молоком. Коровы были почти во всех дворах. Мать долго не приходила, наконец, появилась, неся в руке бидон молока, но лицо у нее было расстроенное. В первой избе, куда она постучалась, ей в молоке отказали. Рыжий мужик, пустив мать в избу, сказал, что лишнего молока нет: "Мы и сами молочко любим". Во втором доме мать встретила старуха и тоже отказала, сославшись на то, что в доме никого нет. В третьем доме молоко дали, но нехотя, косясь.

Так продолжалось две недели. На себе я тоже ощущал неприязнь: мальчишки не хотели играть со мной, называя жиденком. Виной всему были наши черные волосы, да еще моя тетка Катерина, дочь Антония, покойного брата отца, которую он привез с собой с острова Закинтос. Она была чистокровная гречанка, говорила по-русски с сильным акцентом. Помог счастливый случай — приезд Федора Ивановича Шаляпина и трех священников, которые в один прекрасный день подкатили на пролетке к нашей даче.

На террасе накрыли стол, а после обеда все пошли на прогулку в лес. Можно себе представить, как это было воспринято деревенскими. Шаляпин, видимо, сошел за солидного господина: никто в деревне о нем, конечно, не слыхал. Но священники, в рясах, с крестами. После их приезда мы стали самыми уважаемыми людьми в деревне. Бабы наперебой носили нам свежие огурцы и помидоры, с ребятами у нас завязалась дружба.

Через год Шаляпин уехал за границу, и отцу уже не довелось с ним увидеться.

Прожив три года в этой деревне, мы переехали в соседний поселок Баковку. Поселились мы в сравнительно большом доме, принадлежавшем дачному кооперативу. Первые годы отец снимал этот дом. Позже представилась возможность его купить вместе с большим садом. В этом доме наша семья прожила всю жизнь. Я ездил на поезде в Москву учиться. Только когда я в девятнадцать лет женился, отец поселил нас с женой в комнате на Солянке, в Александрийском подворье.

Дом в Баковке был домашним очагом, собиравшим всю семью с начавшими подрастать внуками. По воскресеньям, когда все собирались до двадцати пяти человек — усаживались за стол. Зимой подавались моченые антоновские яблоки, качаны капусты, соленые помидоры — все это заготавливалось на зиму впрок и хранилось в бочках в большом погребе. Жили дружно. Во главе стола всегда сидела бабушка. После ее смерти это место заняла мать.

Моя мать происходила из богатой и интеллигентной греческой семьи; впоследствии разорившейся, что дало возможность отцу взять ее в жены. У родителей отца, на острове Закинтос было мебельное дело. Мебель делали из заморского красного дерева. Отец с большим акцентом говорил по-русски. Мать знала несколько языков. Характером она была сильнее отца, нетороплива в суждениях, в ней угадывалась порода и чувство собственного достоинства и в то же время она была очень обходительна с людьми и обладала редким даром, слушая собеседника, не прерывать его. За столом, разгорячившись от лишней рюмки водки, мы иногда переходили на высокие тона, стараясь перекричать друг друга. Но как только начинала говорить мать, все смолкали. Мать говорила в полголоса и от того в комнате становилось еще тише. Выступления английских дипломатов, которые мне позже приходилось слышать на официальных обедах, очень походили на ее манеру говорить. Будучи христианкой, она не была так глубоко религиозна, как отец, родила пятерых детей, не сделала ни одного аборта, считая это большим грехом. В то же время она была вполне современной в вопросах любви и супружеской

верности, осуждала женщин, которые получали удовольствие, копаясь в чужом белье.

Отец был человеком другого склада, как бы не от мира сего. Невероятно добрый: он никому ни в чем не отказывал. До революции, будучи состоятельным, с невероятной легкостью давал крупные суммы приезжим в Россию знакомым грекам, чтобы те могли начать свое дело. На Пасху и Рождество на извозчике заезжал в магазин, где его знали, и набирал пакеты с продуктами: колбасой, сыром, ветчиной, не забывая вложить и бутылку спиртного — все это раздавалось бедным. Тем, кто жил в подвале или в первом этаже, отец стучал в окно палкой, с которой никогда не расставался. Я видел это много раз, так как любил ездить с ним, помогать.

За годы нашей жизни в Баковке ушли навсегда некоторые родные люди. Первой — бабушка в деревянном гробу, сколоченном соседом-плотником. За ней — тетя Люба, сестра матери, жившая с нами все эти годы. Она была невестой моего отца, но увидев ее сестру, отец, влюбившись, женился на ней. Тетя Люба замуж так и не вышла и всю жизнь жила с нами. Затем увезли отца. Его похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище вместе с моим старшим братом Спиридоном.

Мать до самой смерти жила в Баковке вместе с младшим — Митей и его семьей. Ее гроб опустили в ту же могилу.

О брате Спиридоне я хочу рассказать особо.

В годы, описываемые мною, отец устроился в греческом посольстве сначала ночным дежурным, потом заведующим хозяйством. Туда же поступили на работу братья. Спира — шофером к послу, а Николай — в канцелярию. Братья, не в пример мне, успели получить образование, закончить гимназию. Профессия шофера в те годы была весьма престижной. Многие молодые люди из интеллигентных семей, подчас с высшим образованием, умевшие водить машину, гордились этим.

Спиридон Костаки был не просто шофером, а высококлассным гонщиком. В течение нескольких лет он выигрывал чемпионаты страны по мотогонкам, весьма в те годы популярным.

Естественно, брат для меня, мальчишки, был кумиром. Я помогал ему мыть машину и до блеска доводил все части его гоночного мотоцикла "Харлей-Давидсон".

Был у Спиридона и личный механик, Николай Аксенов, преданный ему человек. Я хорошо помню его лунообразное, всегда улыбающееся лицо с золотыми фиксами во рту. Помню, однажды готовились к гонкам на треке. Трибуны гудели, опоздавшие спешили занять свои места.

За несколько минут до выезда на старт двух гонщиков — Костаки (Московский автоклуб) и Брауна (Динамо) — Николай Аксенов обнаружил, что на мотоцикле брата с моторной цепи снята тонкая пластинка, крепящая соединительное звено. Ее поставили, и Спира выехал на старт. На голове у него был шлем, одет он был в специально сшитую куртку из толстой овчины, на ногах вместо гетр были натянуты толстые чулки, тоже сшитые из овчины. Костюм завершали кожаные брюки.

Браун выехал на специально заказанном за границей мотоцикле с никелированными трубами и чуть ли не двумя карбюраторами. Машина была очень сильной, ее выписали специально, чтобы побить рекорд Костаки, но из этой затеи ничего не вышло. На виражах Браун трусливо сбрасывал газ, и его "Брау Суперьер" покашливал глушителями, выпуская едкий дым касторового масла.

Успехи грека-иностранца (Спира, как и вся наша семья, был греческим подданным) вызывали у многих зависть, а в ГПУ, считавшим себя первым во всем и вся, тем более.

Триумфальную победу брат одержал в зимней гонке Москва-Богородск-Москва. Он единственный из гонщиков прошел всю дистанцию по трассе, проложенной среди сугробов. Из двадцати пяти участников многие вернулись с полпути, а остальных пришлось везти на аэросанях. Когда закончилась гонка, и все уже разъехались, к финишу пришел еще один мотоцикл с коляской. Он был зафиксирован в Богородске и прошел всю тяжелую трассу, как и мой брат. Если не ошибаюсь, это был гонщик Кульчитский от РККА.

Брат завоевал много призов, медалей, получил именные золотые часы. Все это сгорело в Баковке, когда был совершен поджог нашей дачи, о чем я расскажу позже.

С трудом закончив десятилетку, я продолжал ездить с братом на гонки, вечерами пропадал в автоклубе, днем толкался в посольстве на кухне... Спира настаивал, чтобы я продолжал

учиться. В Москве была автомобильная школа, выпускавшая механиков. Я подал документы и начал заниматься, но выяснилось, что с греческим паспортом там учиться нельзя, так как предполагалось, что со временем школа соединится с одной из школ-авиаклубов. Но водить машину я умел, получил права и через какое-то время начал возить первого секретаря посольства.

Наступил 30-й год. В начале мая на мотогонках Спиридон превысил личный рекорд, снова оставив позади Брауна. 7-го июня на Владимирском шоссе должна была состояться километровая гонка. Спира и его механик Аксенов не выходили из гаража, готовя Харлей к старту.

День выдался ясный, чистое небо с белыми облаками не предвещало дождя. В мои функции входило доставить мотоцикл к месту старта на заранее заказаном грузовике; Спира должен был приехать прямо туда. Я жил в то лето на даче и, проспав, чуть не опоздал на поезд, вскочив на ходу в последний вагон. Опоздай я тогда, возможно, и не случилось бы несчастья, постигшего нашу семью... И теперь, спустя столько лет, когда я вспоминаю об этом, слезы застилают мне глаза. Спира был моим кумиром, вторым отцом, я боготворил его.

Спира в тот день тоже приехал на гонки из-за города, где они с женой снимали комнату, и, опаздывая, не успел заехать к отцу, который обычно всегда перед гонками благословлял его. (После его гибели этому всему было придано большое значение. "Благослави отец Спиру, не случилось бы этой беды", — говорила мать.)

У старта, как обычно на больших гонках, царила атмосфера приподнятости. Гул моторов заглушал все вокруг, и люди с трудом слышали друг друга. Механики готовили машины, пахло касторкой. Зрители спешили занять места получше. Мальчики уже успели расположиться в кюветах и их головы торчали на уровне обочины, за которой блестела полоса асфальта. Остальные болельщики расположились вдоль трассы за кюветом. Прибывшие на грузовиках походные буфеты сходу начали торговлю, откупоривали бутылки с пивом и ситро, теплым, как парное молоко.

Гонщики собирались отдельно группами по три-четыре человека, беседовали между собой, судьи все время бегали, что-

то писали, обращаясь то к одному, то к другому спортсмену. Спира был среди них, как всегда, опрятно одетый, черные волосы, гладко зачесанные назад, отдавали блеском.

Аккуратный до педантичности, он как всегда перед соревнованиями заранее изучив дистанцию, чертил карту и предупреждал других участников об опасных местах на трассе.

Наконец, гонщики надели шлемы. Я подошел к Спире. Его теплая рука опустилась на мою голову. В последний раз...

И вот начались соревнования. Треск моторов перешел в рев. Я примастился в кювете рядом с другими ребятами и с замиранием сердца следил за каждой машиной, проносившейся мимо меня с бешенной скоростью.

Гонщики, которых было человек двадцать, стартовали поочередно. Они сидели на мотоциклах, прильнув грудью к бакам, низко наклонив головы. Ориентиром им служила обочина с торчащими из кювета головами мальчишек. Чтобы выиграть секунды, преодолеть сопротивление ветра, они старались сжаться — спрятать все части тела. Смотреть вперед не было необходимости, так как во время гонок на отрезке в три-четыре километра трасса была блокирована с обеих сторон, и никто не мог им помешать.

Два раза я видел, как мимо меня проносился мотоцикл брата, и вот он появился опять, мчащийся с большой, как мне показалось скоростью. Спира ехал в направлении Владимира, где трассу пересекала железная дорога.

Прошло какое-то мгновение после того, как я увидел мчащийся силуэт брата, и с той стороны, где скрылся его мотоцикл, показалась толпа бегущих людей. Впереди всех, размахивая флажком, бежал один из помощников судей и что-то кричал. Его слова еще не успели ранить мое сердце, они заглушались воплями бегущих следом. Но сердце мое уже сжалось, почувствовав беду.

Он подбежал совсем близко, продолжая кричать: "Грек разбился, Грек разбился!", "Скорую помощь!" Где "Скорая помощь"?"

Через несколько минут к шлагбауму подлетела карета скорой помощи, дежурившая на гонках. Я, рыдая, бросился туда же. Подбежав к шлагбауму, я увидел скорую, стоящую перед закрытым шлагбаумом; кто-то долго возился, чтобы его от-

крыть. Спира без движения лежал в нескольких метрах за вторым шлагбаумом. Его обступили плотным кольцом, и я не смог приблизиться к нему. Через три минуты "Скорая помощь", включив раздирающую душу сирену, помчалась к Москве. Через три часа брат скончался в больнице на Таганке...

Чья-то преступная рука во время заезда моего брата опустила шлагбаум. Закончив дистанцию, он продолжал идти с большой скоростью, но уже выпрямившись. Он успел увидеть перед собой закрытый шлагбаум. Но тормозить было поздно. Лететь в кювет — значит врезаться в толпу людей, и брат решил проскочить под шлагбаумом. Ему это удалось. Однако на рельсах мотоцикл подбросило, и он грудью ударился о второй шлагбаум...

Брата отпевали в Греческой церкви на Никольской. Автоклуб всячески этому препятствовал, настаивая на том, чтобы заменить заупокойную службу гражданской панихидой с оркестром. После отпевания официальные лица все же решили отдать дань бывшему чемпиону. Траурная процессия, заехав на Красную площадь (тогда это еще разрешалось), направилась по Тверской к Белорусскому вокзалу. Потом процессия завернула на Никитский бульвар к автоклубу, где произносились речи и прощально гудели клаксоны мотоциклов и машин. За гробом, утопавшим в цветах, грузовик вез разбитый мотоцикл. Процессию сопровождал эскорт мотоциклистов. Все переулки, примыкавшие к Тверской, были закрыты для движения. Спиру похоронили на Ваганьковском кладбище.

Я не буду описывать неутешное горе нашей семьи. Спире было всего 27 лет...

За ночь отец поседел. Жалея мать, он сдерживал слезы. Но я знаю, что оставаясь один, он горько плакал, стоя на коленях перед образами и шепча: "Спира, Спира, Спира..."

Сердце мое разрывалось, когда я видел его в таком состоянии, и я тоже начинал плакать. Я не мог понять о чем отец просит Бога, о чем молится. "Спиры уже нет. И он не может воскреснуть, — думал я, — как воскрес Христос". Лишь потом, вспомнив беседы отца Александра о загробной жизни и рае, я понял, что отец просил Господа принять в светлое лоно свое так рано ушедшего сына.

Но ни вера, ни молитва отца не помогли — он таял на глазах и умер в Баковке от сердечного приступа через полтора года после гибели Спиры...

ИНЫЕ ВРЕМЕНА

Перед смертью отец просил моего младшего брата Николая, у которого тогда тоже был "Харлей-Давидсон" с коляской, продать мотоцикл. И брат стал подыскивать покупателя.

Прошло года два и хороший покупатель подвернулся — штурман самолета, который пилотировал знаменитый летчик Сигизмунд Леваневский, принимавший участие в спасении челюскинцев. Штурмана звали Володя Мешеньков. На вид ему было не более 30-ти лет. Одет он был обычно в военно-морскую форму, на кителе блестел только что полученный орден Боевого Красного Знамени.

Мотоцикл брата стоял в гараже греческого посольства на 1-й Мещанской. У ворот, как всегда, дежурил милиционер, он беспрепятственно пропустил Мешенькова вместе с братом во двор, где они пробыли около часа, договариваясь о цене. Мотоцикл требовал какого-то ремонта и окраски, и дело затянулось недели на две. Мешеньков в форме летчика все это время ходил в посольство, и никто не чинил ему препятствий. Один раз, засидевшись допоздна, он остался в посольстве, переночевав вместе с братом в одной из подвальных комнат.

Это было, если не ошибаюсь, в 1934 году, когда все больше и больше нагнеталась шпиономания и слухи о всяких антисоветских заговорах. И тем не менее, сравнивая те годы с более поздними, когда в ворота посольства не только посторонний, но и шальная кошка не могла пробраться, диву даешься той беспечности, которая тогда царила.

Следует еще отметить, что в те годы иностранцы и особенно дипломаты пользовались большим уважением — вернее власти с ними считались, стараясь избегать конфликтов, шли на уступки. Иностранцев всячески старались ублажить. Не было тогда тенденции заработать на дипломатах и иностранцах, были бы они только довольны и не жаловались. Поэтому

арендная плата за особняки и квартиры для иностранцев была смехотворно низкой, и это продолжалось некоторое время и после смерти Сталина. Иностранные дипломаты пользовались всеми привилегиями, созданными властями для русских. Эти привилегии выражались в том, что иностранцы платили буквально за все по сильно заниженным ценам, установленным для советского населения с мизерными окладами.

Дипломатический корпус Москвы жил на широкую ногу. Почти каждый вечер то у одного, то у другого посольства скапливалось несколько десятков блестящих лимузинов, и шоферы, одетые в форму, спешили открыть дверцы. Банкеты или званные ужины в те годы отличались от нынешних. За столом сидели полтора-два часа. Лакеи не успевали обносить блюдами, которых подавалось больше десяти — одно сменялось другим. Декорированные искусно вырезанными цветами из разных овощей, на специальных сделанных из теста подставках укладывались рябчики или фазаны. Продуктов было много и они стоили сравнительно недорого. К тому же большинство посольств пользовалось "черным рынком", обменивая валюту по очень выгодному курсу.

Шоферы, привозившие господ, тоже не оставлялись без внимания. Очень часто в одной из комнат подвального помещения накрывались столы, уставленные всевозможными закусками, включая осетрину и семгу; из напитков, кроме фруктовых вод и иногда пива, ничего не подавалось, но некоторые шоферы привозили с собой и кое-что покрепче.

Кладовая греческого посольства была забита продуктами — ящики с сотнями яиц, несколько банок зернистой икры и многое другое всегда предоставлялось в распоряжение поваров. Одетые в белые куртки и высокие колпаки, делавшие их выше, они важно ходили от рабочих столов к плите. За поясом у каждого торчала больших размеров ложка, которой они пробовали еду, готовившуюся на большой плите.

Как-то я увидел, что повар Федор Михайлович открыл большую банку икры и бросил в кастрюлю с кипящим бульоном четыре полных ложки. Икра мгновенно свернулась и стала белой, ничем не отличаясь по цвету от яичной скорлупы, плававшей на поверхности бульона. Яичная скорлупа и икра применялись для оттяжки мути в бульоне. И действительно,

2. Зак. 1979

когда крепкий бульон разливался по чашкам, он своей прозрачностью напоминал расплавленный янтарь.

Во дворе посольства жили две собаки — Мишка и Душка — красивые косматые дворняги. Мишка отличался свирепостью и, случалось, сильно трепал неосторожно зашедших во двор людей. Если же входила женщина, Мишка ее с ног не сбивал, а забирался под юбку и сдирал панталоны. Днем собак сажали на цепь, а ночью они бегали, охраняя посольство. Часто утром дворник Шелухин подбирал растерзанных ворон, которых Мишка ухитрялся ловить на лету, и разорванных кошек.

Ночью собаки не лаяли, понимая, что господин посол должен отдыхать. Но как-то Мишка до хрипоты пролаял всю ночь, бросаясь на закрытые ворота. В следующие два дня было тихо, а на третий день повторилось то же самое. Лай будил посла и членов его семьи. Никто не мог понять причины лая. На помощь пришел Шелухин, сообщивший, что один из дежуривших милиционеров (который вообще-то дружил с Мишкой и трепал его по голове, когда тот, встав на задние лапы, просовывал свою морду в ворота) спьяну решил пофамильярничать и плюнул псу в морду. Шелухин, видимо, сообщил куда следует, и милиционера заменили. Лай прекратился.

Брат Спиридон был еще жив-здоров, когда я тоже стал работать в посольстве — шофером у секретаря. Работа считалась престижной и мне нравилась. Правда, приходилось терпеть, когда ночами секретарь пропадал у своей дамы сердца, а я ждал его в машине.

Общение с иностранцами еще не преследовалось так сурово, как в середине 30-х годов во всяком случае (посплетничаю!) не находилось ни одного холостого дипломата, у которого не было бы постоянной любовницы. Очень часто уезжающий передавал "по эстафете" возлюбленную вновь прибывшему при клятвенном обещании, что, если он будет назначен в Москву снова, та тут же вернется к нему.

Дамы, как правило, принадлежали к аристократическим семьям, говорили на иностранных языках, лет тридцати, хороши собой...

У "моего" была стройная длинноногая брюнетка с бюстом, заставлявшим мужчин мечтательно вздыхать. Секретарь был тщедушным маленьким человеком с таким горбатым носом,

из которого почему-то вечно капало. Я никак не мог понять, как такая красавица могла себя продавать, даже и за красивые тряпки.

Много лет спустя я видел ее в свите высшего духовенства, она по-прежнему была хороша собой.

Не буду утверждать с определенностью, но могу предположить, что все эти "дамы" состояли на службе в известных органах.

Поскольку рабочий день у меня иногда затягивался до утра, в посольском полуподвале мне отвели комнату, где я мог отдыхать. Рядом находилась одна из самых больших на этаже комнат, в ней стояли четыре огромных ящика с наглухо забитыми крышками. Казалось, никто не знал, что в них содержится.

Но вот в году 27-28-м вниз спустился отец, посол и два секретаря. Дверь, ведущую наверх, закрыли на ключ, чтобы никто не вошел, а меня оставили. Вскрыли ящики и осторожно начали вынимать содержимое на чистые простыни, расстеленные на полу. Комната как бы озарилась, убогое помещение с осыпающейся штукатуркой преобразилось в кладовую сокровищ. Из ящиков извлекли сверкающие при тусклом свете электричества парчовые, тканные золотом и серебром одеяния. Облачения были в идеальном состоянии — ризы, стихари дьяков и дьячков. Затем начали вынимать серебряные с позолотой и эмалями потиры, наперстные кресты, митры, Евангелия, некоторые из которых украшали многоцветные эмали. Все это мой отец собрал, когда в Москве начали закрывать храмы, а святыни выбрасывались как ненужный хлам. Уходя, отец снова закрыл комнату на ключ. Прошло несколько месяцев и однажды, найдя дверь открытой, я вошел в комнату, но увидел пустые ящики. Содержимое куда-то исчезло...

После смерти отца я узнал, что все эти богатства он с помощью посла отправил в дар церкви святого Дионисия на остров Закинтос. Вещи, видимо, отправлялись небольшими партиями в дипломатической почте. И это держалось в секрете.

Прошло много лет, и трудно было представить, что что-то из того, что отправил мой отец, сохранилось. До нас доходили слухи, что остров горел, что было землетрясение и многие здания разрушены. Каково же было мое удивление и радость,

когда, уже иммигрировав и обосновавшись в Греции, в 1981 году я поехал на остров Закинтос и в большом помещении при церкви святого Дионисия увидел сокровища, подаренные моим отцом. Монах, сопровождавший нас (я был с друзьями), сказал, что многое из того, что прислал отец, еще держат в кладовых, так как для экспозиции не хватает места. Встретившись позже с куратором музея господином Герекосом, мы договорились, что общими усилиями расширим помещение за счет сноса одной стены и сооружения пристройки. Надо сказать, что как иностранцы, служащие греческой миссии, мы, наша семья, пользовались дипломатическим иммунитетом: нас не могли арестовать. В этот дипломатический протокол были внесены и мать и тетка. Однако тогдашний посол Греции Карионопулос оказался порядочным мерзавцем (кстати, он умер совсем недавно в возрасти более 100 лет). Уезжая из Москвы, он отменил этот порядок, передав новому послу Маркети, что не следует вносит в протокол членов семьи Костаки. Греческое посольство отправило соответствующую ноту в МИД СССР. Русские очень удивились — почему? — но посольство настаивало.

Чувствовал ли я себя защищенным, работая в посольстве? Да, чувствовал. Но знал и другое. За свою жизнь в Москве я, наверное, обошелся НКВД, а потом КГБ в тысячи и тысячи рублей. Все эти годы вплоть до смерти Сталина у ворот дома, где мы жили, день и ночь стояла машина, в которой сидели караулившие меня четыре человека. Когда я ехал по Москве, они ехали за мной следом. Когда мы снимали дачу, то они тоже снимали дачу рядом с нами.

Странные были времена, полные неожиданных поворотов. Однажды мы с приятелем были в районе Звенигорода. Ехали по дороге на машине, приятель предложил: "Давай заедем к другу, который живет здесь вместе с родителями".

Приехали. Хороший финский домик, четыре комнаты, кухня, ванная, газ. По соседству — еще более сотни таких домов. Хозяин рассказал, как он получил этот дом. Он был академиком, однажды его пригласили на большой прием, на котором выступал Сталин. Вождь говорил о том, что советские ученые делают очень полезную работу и народ за это им признателен. И чтобы выразить эту признательность, он тоже

хочет для них что-то сделать. И попросил присутствующих поднять тарелки. Гости обнаружили под ними ключи и записки. Сталин подарил им эти дома, все на следующий день поехали за город и открыли ключами уже готовые к заселению дачи.

Много происходило такого, во что сейчас трудно поверить и еще труднее понять. Моя сестра, как я уже говорил, была замужем за Федором Метаксом из очень богатой греческой семьи. Один из его греческих родственников потом стал даже премьер-министром. Когда Федор умер, сестра вышла замуж за Бронислава Николаевича Юшкевича. У сестры оставался греческий паспорт. По прошествии нескольких лет муж предложил поменять этот паспорт на советский. Они отправились в горсовет и без всякой волокиты это сделали. С этим паспортом сестра жила двадцать лет без всяких проблем. Вырос ее сын, служил в армии, был ранен на фронте. Но в один прекрасный день вызывают ее в ОВИР: "Вы принесли паспорт?" "Нет, — отвечает сестра, — я не знала, что он нужен". "Идите и завтра приходите обязательно с паспортом". На следующий день в ОВИРЕ у нее отобрали советский паспорт и выдали другой, где моя сестра объявлялась лицом "без гражданства".

Однако сестра отказалась этот паспорт получать. Так продолжалось несколько месяцев. Присылали людей к ней на квартиру, дачу. Сестра от волнений и переживаний заболела. В конце концов она не выдержала и с плачем пришла к нам: "Что делать? Я не могу так больше жить!" "Надо написать письмо Сталину!" — Предложил брат Николай. В те времена неподалеку от здания Верховного Совета был специальный ящик, в который бросали письма "великому вождю". Письмо написал Николай. В нем были обычные для тех времен фразы: "Наш дорогой отец, товарищ Сталин... случилось то-то... пожалуйста, помогите".

Прошла неделя, к сестре явился двое в штатском: "Гражданка Юшкевич? Пройдемте с нами в ОВИР..." Сестра подумала, что пришли ее арестовать и закричала: "Нет, нет, не надо!" Тогда они начали смеяться: "Не бойтесь, мы привезем вас назад".

В ОВИРЕ ее ждал улыбающийся начальник: "Мария Дионисовна, тысяча извинений, произошла ошибка. Вот ваш пас-

порт, вас больше никто не будет беспокоить..." Такая вот история.

А вообще ОВИР был ужасным учреждением. Раз в год я должен был ходить туда, обновляя вид на жительство. Каждый раз приходилось ждать три-четыре часа. Затем чиновник забирал документы, за ними надо было придти через неделю. Но через неделю они могли быть не готовы и надо было приходить снова, сидеть в очереди и т.п.

Однажды со мной в ОВИРе сыграли злую шутку. Я пришел, как обычно, обновлять паспорт. Мне сказали: "Зайдите через неделю". Потом снова: "Зайдите через неделю". Так я приходил семь или восемь раз! И каждый раз сидел в очереди и ждал часами. Каждый раз девица из канцелярии с рыбьими глазами говорила: "Костаки, ваш документ не готов, зайдите позднее". На девятый раз я не выдержал, я им сказал: "Фашисты! Вы хуже, чем фашисты, вы — хулиганы! Вы же представители страны, которая называет себя самой лучшей в мире. Если вы не хотите, чтобы я жил здесь — вышлите меня за границу. Если вы не хотите высылать, посадите меня в тюрьму, но я не позволю так со мной поступать!"

На крики вышел начальник и стал меня уговаривать: "Костаки, что вы говорите!" А я заявил: "Моей ноги больше здесь не будет. Я оставляю мой паспорт и, когда он будет готов, то сообщите мне об этом через УПДК. И только тогда я приду". Я вернулся домой и стал ждать, когда придут меня арестовывать, был уверен, что теперь этого не избежать. Одну ночь провел без сна, вторую, третью... Но ночного звонка не было.

На четвертый день мне позвонили. "Господин Костаки, ваш паспорт готов. Можете придти и забрать его". Я пошел в ОВИР и получил паспорт через пять минут.

Аресты 37-го года не обошли, однако, нашу семью. В один ужасный день арестовали мою мать, тетку и младшего брата Митю, которому шел тогда всего 18 год. Арестовали их как врагов народа и судили по 58-й статье. Мать и тетка оказались сначала в Бутырской,а потом в Таганской тюрьме, а брата сослали на Север, в Котлас.

Долго о нем ничего не было слышно, но однажды, уже в 38-м году, я получил от него письмо. Не по почте, конечно. Доставил его один заключенный, который освободился. Не

политический, не то вор, не то взломщик, не помню. Письмо было душераздирающее. Брат писал, что условия в лагере невыносимы, кормят очень плохо, он очень похудел, ослаб, а денег нет. За деньги в лагерном киоске можно было бы кое-что купить. Там, по его словам, продавали хлеб, масло, сахар и папиросы. Получил я это письмо, прочитал и сразу решил — поеду!

От Москвы до Котласа около полутора тысяч километров. Но об этом я не думал. Взял билет, купил много продуктов и новые крепкие ботинки, сел в поезд и поехал. Сейчас, например, и представить невозможно, чтобы в такую поездку отправился человек с иностранным паспортом, да еще сотрудник иностранного посольства. А тогда, взял и поехал...

Добрался я до Котласа и разыскал лагерь, в котором сидел брат. Пришел к начальнику. Вхожу в кабинет, а там сидит лысый человек с рыбьими глазами: "Что вы хотите?" Я сказал, что приехал навестить брата, передать ему посылку и если можно повидаться с ним...

Человек с рыбьими глазами порылся в книге, а потом говорит: "Ваш брат — враг народа и никакой передачи ему не положено. Вам же положено в двадцать четыре часа убраться из Котласа, иначе очутитесь в лагере вместе с братом".

А я тогда молодой, напористый был и отвечаю: "Нет уж, я не уеду, пока не передам брату посылку и деньги".

Лысый покачал головой: "Вот эту стену видите? Можете прошибить ее лбом?"

А я ему: "Если нужно будет, то и прошибу!"

Повернулся и ушел. Иду по улице и думаю, что же делать? Ведь и в самом деле, если не уеду, могут арестовать и посадить в лагерь. В те времена это просто делалось.

Несколько дней я скрывался и потихоньку ходил обедать в ресторан на станции Котлас. Обеды там оказались лучше, чем в Москве в "Метрополе": и борщ, и солянка, и котлеты по-киевски, чего только не было! И все так вкусно. Видно, там поваром работал бывший шеф какого-то московского или ленинградского ресторана, которого сослали в Котлас, он и старался...

Хожу по городу, присматриваюсь, ищу нужных людей, встречаю тех, которые приехали по таким же, как и я делам.

У одной женщины в лагере муж-фотограф по 58-й статье сидит. Гречанку одну встретил. Так мы стайкой и ходили. Один "опытный" объясняет: "Тут, — говорит, — есть такой заключенный, "воспитателем" называется. Так он дважды в неделю ходит из лагеря в Котлас и приносит для лагерников письма и посылки. Поговори с ним".

Разыскал я этого человека, рассказал про брата. "А, — говорит, — я твоего брата знаю. Доходяга, очень плохой. Но я тебе помогу". Я обрадовался и от радости больше половины привезенных с собой продуктов и денег ему отдал. Был уверен, что он их передаст Мите. Да, впрочем, другой возможности у меня все равно не было. День жду, два — нет вестей. Пропал гонец. Тут я понял, что он меня обжулил. Что делать?

От Котласа до лагеря километров восемь. По железной дороге надо было идти прямо по шпалам. Лагерь справа от железного полотна. Огромный! По краям четыре вышки. Рано утром ворота отворяются и из них выползает масса людей, словно длинная темная кишка, колышется, то вправо, то влево. Ничего не видно, только черная широкая полоса, движется к горизонту туда, где лес, — они лес шли валить. А полоса все движется, сужается, а потом превращается в одну черную точку.

Я издали наблюдал. Собаки лают, рвутся с поводков. Чуть что — с ног валят. И не дай Бог вправо или влево отойти. Тут же щелкает выстрел и все! Вот такую картину я две недели наблюдал. Все ходил по шпалам к лагерю и обратно, все ботинки изорвал.

Напротив лагеря маленькая деревенька была, даже не деревенька, а так, слободка. А в ней жила лагерная охрана. Дело было осенью. Хожу я вокруг слободки, а тут пошел дождь. Я весь промок, дрожу от холода. Набрался смелости, подошел к одному и постучался.

Открывает дверь молодая женщина с ребенком. Я и спрашиваю: "Можно у вас переночевать? А она отвечает: "А отчего нет? Пожалуйста. Может вы голодны? Хотите молока с хлебом?" Я от молока отказался, а попросил чаю, потому что очень замерз. Налила она мне чаю, я посидел, отогрелся.

Вечером приходит муж. Молодой, с двумя звездочками — значит, лейтенант. Внимания на меня он особого не обратил и

даже сразу не стал спрашивать, кто я и откуда. Хозяйка щи сварила, сели ужинать и меня пригласили. Тут он и стал меня расспрашивать. Я ему и говорю, что у меня здесь брат Митя Костаки сидит. "А, — говорит, — знаю такого. Худой очень и больной..."

А у меня кое-какие продукты еще остались. Достал я поллитра, выпили мы по рюмочке, я не выдержал и заплакал.

Лейтенант мне и говорит: "Ты, знаешь, я и сам не пойму, в чем тут дело. Тут ведь люди сидят, которые с самим Лениным за руку здоровались. И они до сих пор сидят и думают, что тут какое-то недоразумение, что Сталин не виноват, а виноваты какие-то злые силы... Не горюй, я тебе устрою свидание с братом. Дня через два-три приду и проведу тебя в зону, а потом брата твоего Митю позову..."

Я его поблагодарил, хотя и почувствовал страх. Но лицо у этого лейтенанта было такое открытое, доброе, хорошее и грустное лицо. Не может быть, думаю, чтобы такой человек обманул... и согласился.

Ушел лейтенант на работу, а я сижу и жду его. Приходит он в два часа ночи и говорит: "Сегодня нельзя. Начальство приехало, обход, а потом, — говорит, — будут пьянствовать... Подожди еще денек".

Через день приходит полтретьего ночи и говорит: "Пойдем!" От его дома до лагеря метров триста, только полотно железной дороги перейти. Перешли мы через рельсы и открывает он дверь в небольшую такую будочку. Помещение небольшое, метров десять квадратных. В центре печка стоит, пахнет печеным картофелем, махоркой и портянками. В общем, тяжелый такой запах. Он меня посадил и говорит: "Сиди здесь. Если кто-нибудь войдет и спросит, отвечай, что тебя привел лейтенант такой-то и все, больше ничего не говори".

Сижу, жду. Проходит минут пятнадцать, вот и лейтенант с моим Митей. Хочу с братом поговорить, а он не может, руки трясутся, зубы стучат, голова дергается... Я уж на него даже прикрикнул: "Ты что? Возьми себя в руки, поговорить надо!" Я с собой продукты кое-какие захватил и денег еще немного осталось. Поговорили мы. Рассказал мне брат о лагерной жизни — слушать страшно было.

Выяснилось, что в лагере очень много греков. "И знаешь, — говорит брат, — многие из них умирают, в основном, от голода. Нельзя ли им как-нибудь помочь?"

Задерживаться в будке надолго я не мог. Оставил я Митьке все, что с собой принес и пообещал еще денег передать. Обнялись мы, брат в лагерь назад пошел, а я — на волю. Уже позднее я узнал, что брата после нашего свидания — дознались все-таки! — на месяц посадили в одиночку, да и у лейтенанта неприятности были.

Удивительные люди русские... Очень душевные и я их очень люблю. Когда я из лагеря вернулся, то снова встретился с теми людьми в Котласе, которые проведать своих приехали. Была среди них Вера Васильевна, жена фотографа из Вятки. Так она мне и говорит: "Что же вы кручинитесь? Ведь и брата повидали и назад благополучно вернулись". Рассказал я ей, что в лагере сидит много греков и помочь им надо, а денег больше нет. Большую часть их я жулику-воспитателю отдал. А идти на станцию и посылать телеграмму, чтобы мне сюда деньги выслали — опасно. Что мне делать? Вера Васильевна вдруг меня и спрашивает: "А сколько денег нужно?" Я отвечаю: "Много, тысяч восемь". "Ну, — отвечает она, — восемь тысяч я вам дать не могу, а семь дам. У меня, — говорит, — есть аккредитив".

Я тогда и не знал, что такое "аккредитив". Получила она в сберкассе эти деньги и дает мне. А я ее спрашиваю: "Как же вы мне даете такую большую сумму, ведь совсем меня не знаете?" А она отвечает: "У меня здесь муж сидит, а у вас — брат, оба мы с вами в одинаковом положении. Я знаю, вы не сможете не отдать долг"...

Передал я эти деньги в лагерь, вернулся в Москву и сразу Вере Васильевне сделал перевод. Потом долго мечтал, что приедет она когда-нибудь в Москву, возьму я ее за руку, отведу на Красную площадь и там стану перед ней, голубушкой, на колени. Но она так и не приехала... После поездки к брату жизнь пошла своим чередом.

ПЕРВЫЕ ПОКУПКИ
ПЕРВЫЕ ОШИБКИ

В тридцатые годы, вплоть до Второй мировой и даже в первые послевоенные годы цены на антикварные произведения искусства в России были баснословно низки. Это и понятно. Разоренная интеллигенция вынуждена была продавать вещи, накопленные семьей за десятки, если не за сотни лет, еще дедами и прадедами.

Были антикварные магазины, которые покупали, сразу выплачивая деньги, причем приемщики, как правило, занижали цены. Делали они это по разным причинам.

Под предлогом того, что произведение не должно стоить дорого, чтобы быть доступным простому советскому человеку с его скромным достатком. Цена же, уплаченная за вещь до революции, во внимание не принималась: "Тогда покупали богачи-миллионеры, у нас таких покупателей нет!" Это было правдой и в то же время, неправдой, так как работники антикварных магазинов знали, что 90 процентов покупателей — иностранцы.

К тому же антикварные магазины работали как мясорубки — не успевали опустошить полки с Майсеном XVIII века, серебряными кубками русских, немецких, шведских мастеров — в России было все! — как новая партия занимала место. Магазин являл собой калейдоскоп, а точнее бездонный колодец, из которого предприимчивые люди десятилетиями выкачивали ценности.

Часто случалось, что по невежеству оценщика вещи покупались и продавались за сотую долю номинальной цены. Ведь специалистов-антикваров почти не было, оставшиеся старики, со временем потеряв ориентир, начали приспосабливаться к новым оценкам ценностей.

Часто в магазины поступала дворцовая утварь, большие позолоченные серебряные блюда с орлами. Причем слой золота был так велик, что долго приходилось пилить трехгранником, чтобы добраться до серебра.

В Столешниковом переулке был магазин, торговавший изделиями из бриллиантов, изумрудов, сапфиров, нередко встречались изделия Фаберже.

Многое, если не все, оказалось вывезенным за границу... Некоторые дипломаты отправляли пульманы, груженые иконами, старинной мебелью и многим другим.

В тридцатые годы была еще одна форма торговли — "Торгсин" — торговля с иностранцами. Через "Торгсин" за валюту ушло много ценностей, в том числе и икон. На полках "Торгсинов" покупателей соблазняли отборные продукты, импортная обувь и многое другое, от чего люди успели отвыкнуть. В обмен на товары принималась чеканная царская монета, валюта, а в основном, золото и серебро, которые сдавали в приемочные пункты, подолгу выстаивая в очередях. Сдавалось все, что имело пробу: часы, браслеты, кольца, портсигары, серьги, всевозможные украшения, серебряные вилки, ложки, ножи, старинные кубки, принимались и драгоценные камни. Камням повезло больше, чем всему остальному — их не били молотком, а прятали в сейфы. Все остальное шло на лом. Презренный металл, превращенный из художественных изделий в килограммы лома, пополнял истощившуюся казну страны Советов.

Вот в такой благоприятной для имеющего средства человека я постепенно начал приобщаться к коллекционированию. Однажды, соблазнившись, купил фарфоровую фигуру Наполеона на коне...

Работая шофером, я часто возил своего хозяина в комиссионные магазины в Столешниковом переулке. Для меня эти визиты явились первым приобщением к миру прекрасного, возможностью расширить кругозор, развить вкус. Каждый раз, когда я привозил в магазин посла и потом, когда заезжал туда уже без него, я подолгу бродил среди коллекционеров, слушал, что они говорят, смотрел, что покупают. Постепенно научился разбираться в фарфоре и даже продавцы начали меня спрашивать: "А это, как ты думаешь, чья работа?" Особенно, если дело касалось работ небольших фарфоровых фабрик.

После Наполеона я купил еще две статуэтки XVIII века. Дальше — больше. Начал покупать картины, в основном, голландцев. Так продолжалось лет десять.

Жили мы тогда в двухэтажном доме на Большой Бронной. В коммуналке было три комнаты, и в них я развешивал свои приобретения. Ко мне стали приходить знакомые, я любил демонстрировать свои сокровища. Два знакомых художника-графика, жившие в нашем дворе, помогли мне расширить круг знатоков. Я начал общаться и водить дружбу с другими коллекционерами. Тогда в Москве было немало людей, которые собирали старых мастеров.

Помню, один коллекционер по фамилии Невзоров как-то пригласил меня: "Приходите, — говорит, — может быть, вы у меня что-нибудь купите". Прихожу... Большая московская квартира, высокие потолки, широкий коридор и все увешано, как мне тогда показалось, шедеврами. Сели мы пить чай, потом он начал показывать свою коллекцию и называть очень большие имена. Выбрал я пару картинок, но когда он назвал цену, то у меня глаза полезли на лоб и я понял, что мне это не подходит — не по карману.

Сидим мы, торгуемся, а время идет — уже около двенадцати часов ночи. Подумал я, что жена будет волноваться и прошу разрешения у хозяина квартиры позвонить по телефону домой. А он мне не разрешает. "Нет, — говорит, — никуда звонить не надо, вы сначала купите у меня хоть одну картину!" И уйти не дает! Чтобы хоть как-то от него отвязаться, купил я у него небольшую картинку, только тогда он меня отпустил.

Поспешил я домой, трамваи уже не ходили, а до Бронной — далеко. Пришел только в третьем часу, жена Зина сидит и плачет: "Я думала, что тебя автомобиль сбил или еще что-нибудь случилось..."

Мир московских коллекционеров был весьма интересным, но нелегким в общении. Встречались порядочные люди, но попадались и нечестные, которые часто старались всучить заведомо фальшивую вещь. Тогда это никак не каралось. Воспринималось, как нечто естественное, закономерное. Считали: смотри и решай сам, а если купил "фальшак" — молчи.

Однажды я увидел в комиссионном магазине картину Пикассо "Три апельсина". Захотел ее купить, поговорил с директором, тот отложил, а потом взял и продал картину Илье Эренбургу. Я расстроился, стою возле магазина, горюю, а тут

появляется известный московский коллекционер и большой специалист по Айвазовскому — Тоскин. Не расстраивайтесь, — говорит он мне, — то, что вы хотели купить, не настоящий Пикассо. Подлинные "Три апельсина" Пикассо находятся у вдовы покойного священнослужителя Введенского.

Я поспешил к Введенской, договорился с ней о покупке этой картины. Но предварительно спросил: "Откуда у вас эта вещь?" Она мне объяснила, что муж купил ее у художника Глущенко, который ездил в Париж и дружил с Введенским. Я решил проверить и позвонил в Киев, где тогда жил Глущенко, тот подтвердил: "Да, это — Пикассо, мне его подарил сам маэстро, покупайте и можете не беспокоиться".

Повесил я этого "Пикассо" дома, радуюсь. А тут приходит ко мне художник Фальк. Смотрел, смотрел и говорит: "Ты знаешь, что-то не нравится мне эта вещь..." Больше он ничего не сказал, но на следующий день прислал мне французский журнал с репродукциями французского художника Де Ласерна, и среди них очень похожая на мои "Три апельсина". Стал внимательнее подпись под моей картиной разглядывать и мне показалось, что под буквами "Пикассо" вроде бы буква "Л" просматривается. Отдал я тогда полотно в музей, там его в лаборатории лучами просветили и в самом деле прочитали подлинную подпись художника: "Де Ласерн". Она была замазана, а сверху нанесена поддельная подпись Пикассо. "Фальшак!"

Я позвонил вдове Введенского, а она мне отвечает: "Мы эту картину купили у Глущенко — с него и спрос!" Тут выяснилось, что у Глущенко выставка на Кузнецком мосту, он приехал в Москву и живет в гостинице "Советская". Прихожу я в гостиницу, а там у него компания: дамы в декольтированных платьях, танцуют, пьют шампанское. Отвел я Глущенко в сторону и тихо ему говорю: "Пикассо, которого у вас купили, никакой не Пикассо, а Де Ласерн". Он сразу изменился в лице: "Ой, может быть я и в самом деле что-то перепутал, с каждым это может случиться. Но вы не бойтесь, у меня и Шагал есть, и Кандинский, я вам другую вещь пришлю и мы останемся друзьями, не нужно поднимать скандала..."

Я согласился и стал ждать. Проходит месяц, два. Конечно, он мне ничего не прислал! Рассказал я обо всей этой истории

известному московскому коллекционеру старику уже — Блоху. Так мол и так, Глущенко — жулик, хочу написать письмо в Киев, его разоблачить. Блох мне и говорит: "Георгий Дионисович, не делайте этого. Ни в коем случае не делайте. Если сделаете, то попадете среди коллекционеров в "черный список", от вас все отвернутся. Все скажут, что с Костакисом надо быть очень осторожным, потому что он чуть что начинает жаловаться. Этим вы нисколько не поможете себе, потому что Глущенко все равно ничего вам не пришлет". Послушал я его и не стал никуда писать...

Жил в Москве еще один известный коллекционер — к сожалению, забыл его фамилию — доктор-гомеопат. Он начал заниматься собирательством еще до революции. Как доктор он был широко известен. Со своих пациенток, престарелых дам он не брал денег, а, как правило, произносил следующую фразу: "Если бы вы нашли мне какую-нибудь икону, то я был бы вам очень признателен..." В России, как известно, считалось предосудительным продавать иконы, а дарить, наоборот, — делом богоугодным. И пациентки предприимчивого доктора несли ему иконы, старинные книги, дарили другие ценные вещи, и коллекция его непрерывно росла.

Я был у него в доме на Трубной два или три раза: просторная квартира с огромными шкафами, вместо книг заполненных иконами самых различных размеров и достоинств. Уникальная коллекция! Когда врач умер, его племянница и ее муж-алкоголик очень быстро все спустили...

Славой крупнейшего коллекционера пользовался Николай Николаевич Крушинников, по прозвищу "Ник-Ник". Он продавал и покупал иконы. С женой он обращался как со служанкой, со своей матерью был очень груб, хотя и обращался к ней на "вы": "Мамаша, идите вы к черту!" Зато на "вы". Однако в том, что касается икон, он был одним из лучших знатоков Москвы.

Однажды Святослав Рихтер пригласил меня, мою жену Зину и дочь Лилю на костюмированный вечер. Сбор гостей был назначен на девять часов вечера. Мы уже собирались выходить, как вдруг позвонил Ник-Ник: "У меня есть для вас кое-что интересное. Если вы не приедете, то потом очень расстроитесь".

Разумеется, я все бросил и помчался к нему!

Ник-Ник показал мне икону "Вознесение" XV века. Фантастическая вещь! Подобные есть только в Третьяковке и Русском музее.

— Вам нравится? — спросил меня Ник-Ник.

— Конечно, — ответил я, — сколько же это стоит? Я готов заплатить любые деньги.

— Знаете, мой друг, — отвечает Ник-Ник, — я не люблю грабить людей. Я — честный человек. Если я что-нибудь купил, а потом продаю, то для меня достаточно добавить пять процентов. Больше мне не нужно.

Словом, я попросил, чтобы он эту икону никому не продавал и пообещал ему около 10 тысяч рублей — по тем временам очень большие деньги.

— Мой дорогой, спите спокойно, — заверил меня Ник-Ник и отказался взять аванс.

Я поспешил домой и мы поехали к Рихтеру на костюмированный вечер, где все были в масках. Три часа я сидел рядом с Иваном Козловским. Весь вечер мы болтали о том, о сем, пили вместе водку, а я и не знал кто это!

С Рихтером в те времена мы были очень близки. Он еще не стал так знаменит, но известностью пользовался, Когда мы жили на Бронной, он часто приходил ко мне и приносил билеты на свои концерты. После концертов снова приходил, мы пили чай и обсуждали его выступление. Держался он просто и сердечно. Позднее, став знаменитым, Рихтер изменился. Он, например, мог заявит организатору концерта уже тогда, когда зрители сидели в зале: "Сегодня я не могу играть"... Но ко мне он продолжал относиться очень любезно, хотя и в тоне "маэстро".

На следующий день я отправился к Ник-Нику за обещанной иконой. Он меня встретил на пороге со словами: "А я еще кое-что хочу вам показать". И достал небольшую икону XVII века, хорошую, но не более того. Я заподозрил неладное и спросил, а где же та, что он мне показывал накануне?

— Вы знаете, что случилось? — отвечал он не моргнув глазом. — Как только вы вчера ушли, пришел один мой друг, которому эта икона тоже очень понравилась. Он стал просить, чтобы я ему ее продал, и оказался так настойчив, что я не мог устоять...

— Как же так, — закричал я с досадой. — Ведь вы же обещали продать ее мне! Если вас не устраивает предложенная мною цена, то я готов заплатить гораздо больше. Мне нужна именно та икона!

— Увы, — развел руками Ник-Ник, сделка уже состоялась...

Да, он был большим негодяем и так поступал не только со мной, но и с другими коллекционерами. Но его услугами все равно продолжали пользоваться. Ведь он обладал еще и редчайшей библиотекой: русские книги 18-19 веков, редкие издания с миниатюрами XIV-XV веков. Постепенно он все распродал...

Одна из самых крупных коллекций принадлежала Феликсу Евгеньевичу Вишневскому. Семья его в прежние времена занималась торговлей, художественным литьем, строительством фонтанов на московских площадях. У Вишневского икон было немного, он собирал старых западных мастеров и картины русских художников XVII — XIX веков. Человек чрезвычайно скупой, он старался покупать картины как можно дешевле. Буквально грабил старушек, давая им в 3-4 раза меньше, чем картина стоила на самом деле. Те соглашались, так как не знали подлинной цены своим вещам.

Помимо картин Вишневский имел громадную коллекцию старинного фарфора и антикварной мебели. Однажды он нашел потрясающий комод Людовика XIV в сугробе во дворе. В старый дом въехало какое-то новое советское учреждение и его директор приказал выбросить во двор всю старую "рухлядь", заменив ее новой мебелью. Случайно во двор вошел Вишневский и нашел бесценную вещь под снегом. К счастью, она еще не успела испортиться. Обомлевший коллекционер только начал разгребать снег, как к нему подошел дворник: "Что ты здесь делаешь?" "Я бы хотел..." — начал Вишневский. Дворник перебил: "Гони поллитра и можешь забирать эти дрова". Конечно он тут же нанял машину и увез мебель, одарив дворника бутылкой. Теперь этот комод, по-моему, находится в Русском музее.

Однажды в Москву приехал директор одной зарубежной галереи, с которым я познакомился в Лондоне, и пригласил меня к обеду. Та галерея проводит знаменитые аукционы и очень интересуется стариной: картинами, мебелью, фарфо-

ром и т.п. Во время обеда директор выразил пожелание увидеть какую-нибудь хорошую частную коллекцию старых мастеров: "Если такая есть в Москве". "Конечно есть! Это — Вишневский", — ответил я ему.

В это время часть коллекции Вишневского была выставлена в музее Пушкина. Мы пришли туда, мой спутник познакомился с Вишневским и тот ему показал сначала то, что было выставлено в музее, а потом и все остальное. Гость пришел в восторг и сказал, что это — очень ценная коллекция. Однако потом он признал, что ее нельзя сравнить с моей. "Ваша коллекция, Костаки, — сказал он, — уникальная, а таких, как у Вишневского в мире очень много".

Позднее сам Вишневский по этому поводу сказал мне: "Мы думаем, что что-то знаем, а на самом деле похожи на слепых котят. Ваш знакомый мне на многое открыл глаза. У меня, например, есть столовый фарфоровый сервиз XVIII века. Так выяснилось, что это уникальная музейная вещь, которая стоит колосальных денег. Таких сервизов, видимо, всего два в мире. Один — у английской королевы, а другой — у меня. Есть и некоторые другие вещи, которые я прежде хотел поменять, а оказывается они бесценны..."

Да, Вишневский, конечно, не знал цен на мировом рынке. Мало того, он не знал и подлинную ценность той или иной вещи в своей коллекции. Это и не мудрено. В Сотби, например, и на других мировых аукционах работает много специалистов: один по английскому серебру, другой — по шведскому, третий — по китайскому и т.д. А Вишневский, как и все мы в России, старался все знать сам, а это невозможно. Кроме того, у нас не было учителей, не было советников. Если кто-то научил меня чему-то ошибочному, то я повторял эту ошибку, а потом передавал ее другому.

В те времена, когда я начал заниматься собирательством, коллекционеры в России не имели почти никаких контактов с Западом. У нас не было ни каталогов, ничего. Говорят, что после революции все частные собрания национализировали. Но это не так. Национализировали только крупные коллекции. Такие как Щукина, Морозова. А те, что поменьше — нет. Никто не мешал создавать и новые. Ни сразу после революции, ни в 30-е годы, ни в 40-е годы, ни в 50-е.

Комиссионные магазины, продающие старую мебель, были полны — покупали мало. Прежде всего потому, что начали строить дома с очень маленькими комнатами и низкими потолками, туда старая мебель не помещалась. Из-за этого много старинной, антикварной мебели просто уничтожено, распилено на дрова. Новоселы предпочитали покупать новую модерную мебель.

Квартиры перестали украшать персидскими и афганскими коврами, предпочитая им современные паласы в западном стиле. Однако, надо признать, что за последние двадцать лет к старой мебели вновь возник интерес, ее начали понемногу покупать. У нескольких моих друзей в Москве, из числа тех, кто собирает иконы, есть и старинная мебель.

ПОТЕРИ И ОБРЕТЕНИЯ "ГРЕКА-ЧУДАКА"

После подписания пакта Молотовым и Риббентропом, дипломатические отношения между Грецией и СССР прервались, а греческое посольство, где я работал, должно было эвакуироваться в США. Собирался уехать и я. Однако визу на выезд в США выдали только мне, а жене Зине и детям отказали. Такой вариант для меня неприемлем и я остался в Москве.

Приятель, который работал в шведском посольстве, подыскал мне место сторожа в посольстве Финляндии. Я получил очень удобную квартиру с горячей водой, а кроме того специальную книжку на получение продуктов. Можно было покупать килограмм мяса или килограмм икры. Если до войны в Москве положение с продуктами было неплохое, а в годы войны стало очень трудно. Мне пришлось продать много вещей, серебра, ковров и других предметов из моей коллекции. Многое у меня украли...

В финском посольстве я проработал в общей сложности около трех лет. Зарплату платили ничтожную: хватало на килограмм сахара на рынке. Когда началась война, мы переехали жить в коммуналку на Рождественке.

Во время бомбежек Зина с детьми спускалась в убежище, а я оставался в квартире. У меня еще сохранились бутылки коллекционного вина, которое я в свое время купил у польского посла вместе с ковром, с серебром и другими вещами. Однако сосед — парикмахер, с которым я выпивал, оказался негодным человеком. Мы жили в одной квартире, комнаты наши были напротив. Очень часто, когда ко мне кто-нибудь приходил, сосед припадал к двери и слушал, о чем мы говорили. Несколько раз, открыв дверь, я заставал его в таком положении.

А коньяк мы с ним тогда пили прекрасный! По-моему, это был "Наполеон", настоящий, еще тех времен. Помню, налили в стаканы и по комнате разнесся совершенно невероятный аромат. Мы делали по глотку, и с нашими головами что-то стало происходить невероятное. Мы начали витать где-то в поднебесье... Ангелы вокруг... И мадера старая в моем запасе имелась, еще какие-то вина. Постепенно мы эти бутылочки прикончили и начали пить обычную водку, которая стоила тогда очень дорого.

Несмотря на все военные тяготы и лишения, интерес к коллекционированию у меня не пропал. И едва жизнь стала налаживаться, я начал восстанавливать прежние связи. В жизни мне приходилось встречаться со многими коллекционерами. Были среди них и честные люди, и жуликоватые. Но с самого начала я выработал для себя определенную систему: ни от чего не отказываться, потому, что создавая коллекцию, никогда не знаешь, откуда придет счастье. Очень часто бывало так: знакомлюсь с человеком, который предлагает мне какие-то вещи, и замечаю, что человек этот не очень честный и пытается меня обмануть. Но я контактов с ним не теряю. Просто становлюсь более собранным, более внимательным. Потому что я чувствую, что совершенно случайно в разговоре за чашкой чая смогу получить какой-нибудь адрес и куплю какую-нибудь, быть может очень простенькую вещь, которая, может быть, и не представляет никакого интереса, однако у меня появится еще одно новое знакомство, которое откроет мне новые двери, контакты. Именно так я и действовал.

Был среди моих знакомых некий Кондратий Тарасович Буткевич. Он не коллекционировал, а занимался немножко

реставрацией, иногда покупал случайные вещи и предлагал их тем, кто собирает. У него собиралось всего понемногу: и иконы, и картины. Часто он мне приносил "фальшака". Один раз принес "Кринолины" Кандинского с явно фальшивой подписью автора. Я это сразу заметил, но картина мне показалась настоящей, я рискнул и взял ее. И действительно: позже Нина Кандинская мне объяснила, что сама вещь подлинная, а подпись — фальшивая.

Кондратий Тарасович жил у Новодевичего монастыря в большом деревенском (в те годы сохранились еще такие) доме. Удивительный был человек, но страшный разбойник! В друзьях у него состоял коллекционер и художник Володя Мороз. И вот эти два разбойника решили отправиться на север за иконами. Стали ходить по деревням. Местным людям они представлялись людьми, имеющими какое-то отношение к церкви. И в разговорах называли друг друга "брат Кондрат" и "брат Владимир". Крестьянам объясняли, что в их местах церковь сгорела, построили новую, а икон нету. С собой у них был мешок новых икон в металлических ризах и они предлагали их поменять на старые. Так и выуживали у местных жителей иконы. Привезли в Москву целый мешок и свалили в сарай. Иконы, правда, оказались не первого сорта: XVIII, XIX век. А зима выдалась лютая и с дровами стало плохо. Решил тогда Кондратий Тарасович печку иконами подтопить. Взял топор, пошел в сарай. Одну разрубил, вторую, третью. Взял в руки четвертую и, вместо того, чтобы разрубить ее сразу почему-то, сам не зная, с краешку щепку отколол. Смотрит, врез старый. Это называется "левкас". Когда старая икона повреждена, снимают с доски тонкий слой и врезают его, в новую доску. Оказалось — икона XV века.

Был с ним еще и такой случай. Купил как-то по случаю картину старого мастера и отнес ее на экспертизу в Пушкинский музей. Оказалось, что это — полотно очень известного французского художника, за которое музей заплатил ему очень большие деньги. Тогда Кондратий Тарасович не выдержал и сошел с ума: стал покупать все подряд и искать шедевры. Причем, сам реставрировал, соскабливал один слой краски, другой и так испортил много картин. Однако через него я

получил много адресов, по которым мне удалось купить хорошие иконы.

Постепенно моя коллекция разрасталась, вещей становилось все больше и больше. Я собирал и старых голландцев, и фарфор, и русское серебро, и ковры, и ткани. Но я все время думал о том, что если буду продолжать все в том же духе, то ничего нового в искусство не принесу. Все то, что я собирал, уже было и в Лувре, и в Эрмитаже, да, пожалуй, и в каждом большом музее любой страны, и даже в частных собраниях. Продолжая в том же духе, я мог бы разбогатеть, но... не больше.

А мне хотелось сделать что-то необыкновенное. Как-то совершенно случайно, попал я в одну московскую квартиру — совершенно не помню, где и у кого это было. Там я впервые увидел два или три холста авангардистов, один из них — Ольги Розановой... Работы произвели на меня сильнейшее впечатление. Потому, что те голландцы, которых я собирал, уже начали меня раздражать. Висят на стене 25-30 картин одинаковые по колориту и разница только в сюжете. На одной картине нарисована кухня, на другой — натюрморт, на третьей — еще что-то. У меня даже иногда чесались руки, хотелось почистить, поцарапать эти коричневые картины, может выявить еще что-нибудь! Меня даже больше привлекали рамы, в которые эти картины были вставлены: красивые, блестящие, отделанные золотом, серебром. Нет, я не собирался отказываться от коллекционирования, но радости оно мне уже не доставляло.

И вот я купил картины авангардистов, принес их домой и повесил рядом с голландцами. И было такое ощущение, что я жил в комнате с зашторенными окнами, а теперь они распахнулись и в них ворвалось солнце. С этого времени я решил расстаться со всем, что успел собрать, и приобретать только авангард.

Произошло это в 1946 году. Постепенно, но очень активно я начал избавляться от всего, что имел. Некоторые вещи я продал Пушкинскому музею, другие купили коллекционеры. Позже я что-то выменял на картины авангардистов. При этом действовал я совершенно вслепую, потому что никакого представления об авангарде не имел. Я знал имена Шагала, Кандинского, слышал о Малевиче, но что это за художники, каково их место в истории живописи, я не знал.

Я искал и это оказалось не легкой работой. Во-первых, авангард был в те времена под запретом, и те, кто его имел, особенно это не афишировали. Прятали и старались никому не показывать. Да никто и не стремился тогда покупать авангардистов.

Поначалу я решил, что нужно найти какую-то опору, разыскать какого-нибудь человека, который мог бы мной руководить, давать советы. Я познакомился с Николаем Николаевичем Харджиевым, известным в то время искусствоведом. Он хорошо знал Малевича, работал над изучением поэзии Мандельштама, считался специалистом по Маяковскому, словом, имел самое непосредственное отношение к авангарду.

Мы встретились, и я рассказал ему о своем намерении собирать картины авангардистов. А он мне в ответ: "Знаете, Георгий Дионисович, все это очень интересно, но это — пропащее дело. Авангард никому не нужен, с ним навсегда покончено. С 32-го года это искусство запрещено, в музеях его больше не экспонируют, интерес к нему пропал, оно похоронено".

Я его внимательно выслушал, однако попросил назвать самых известных авангардистов. Он назвал имена Шагала, Кандинского, Малевича, Ларионова, Гончаровой, Ольги Розановой... Ну, вот, пожалуй, и все. Попову и Клюна он назвал эпигонами и сказал, что они никакого интереса не представляют, а Родченко — всего-навсего фотограф. "В общем, — вынес приговор Харджиев, — не надо этими художниками заниматься. Вы только забьете мусором свою коллекцию и больше ничего".

Однако я с ним не согласился. У меня уже сложилась своя точка зрения. Я видел картины Поповой, Клюна и других художников, никому тогда не известных. Меня поразило, что все они были как бы похожи друг на друга, и в то же время абсолютно разные. Я представил себе, что если собрать все их вещи вместе и попросить человека с тонким вкусом, не называя ему при этом имен, рассортировать работы по авторской принадлежности, то человек с точным глазом безошибочно распознает разницу. Несмотря на то, что почти все делали кубики, квадратики, все использовали как бы локальный цвет — все были разными. И поразительнее всего, что идя по пятам за великими мастерами, скажем, за Малевичем,

например, Клюн или Кудряшев, через два-три года менялись, находя свою оригинальную стезю.

Словом, я решил собирать авангард. Многие друзья и родственники меня жалели. Они считали, что я сделал большую ошибку, расставшись со старой коллекцией, покупая, как они единодушно считали, какую-то "ерунду". В среде московских коллекционеров у меня появилось не очень-то лестное прозвище "грек-чудак", который приобретает никому не нужный мусор.

Тут мне хочется сделать небольшое отступление, чтобы изложить свои взгляды на авангард.

В период с 1908 по 1915 год в России господствовал модернизм. Авангарда в чистом виде еще не было. Основоположниками его стали такие художники, как Ларионов, Гончарова, Бурлюк. Позже появились русские кубисты, кубофутуристы. И только уже после 15-го года начинается авангард во главе с Малевичем. Так продолжалось примерно до 1922 года: авангард был на подъеме. Надо сказать, что еще в дореволюционный период русские авангардисты, несмотря на то, что были гонимы, устраивали выставки и писали свои манифесты. Но публика, в основном, их не принимала, не понимала и игнорировала. После каждой выставки появлялись ужасные статьи против этих художников, их ругали, называли хулиганами, возмущались устроителями выставок: "Кто, мол, разрешает такое и кому это нужно?!"

В те годы художники не то чтобы не могли продавать свои картины — просто никто их не покупал. Даже такие известные коллекционеры, как Щукин и Морозов, которые приобретали в больших количествах Матисса, Пикассо и Бонара, своими авангардистами совершенно не интересовались. Изредко брали какую-нибудь фигуративную вещь Гончаровой или Ларионова. На этом все кончалось. Так что жизнь авангардистов была сложной и трудной, признания они не получали, и до 1917 года дела у них шли очень неважно. Но после 1917 года они получили большую поддержку со стороны новых властей. Те увидели в этом движении что-то революционное, нужное для народа и решили использовать это в своих целях. Художникам разрешили, например, декорировать Красную площадь и устраивать празднества, украшать улицы, рабо-

тать над декорациями в театрах и т.д. Запрета никакого не было — наоборот. Так продолжалось несколько лет. Я бы сказал, до 1920 года.

Постепенно начали покупать у художников-авангардистов работы Третьяковская галерея и Русский музей. Правда отбор шел скорее по более фигуративным вещам. Начиная где-то с 1922 года, пошел спад. Власти начали относиться к авангарду весьма настороженно: сочли, что у художников этого направления появился какой-то оттенок, я бы сказал, анархизма. Каждый ведь старался заявить о себе! Начался разлад в высших учебных заведениях — в ИНХУКе, ВХУТЕМАСе. Профессура стала ссориться между собой, появился раскол и среди художников. Скажем, Татлин видеть не мог Малевича, а Малевич ненавидел Татлина.

Так посепенно все пошло на спад. И власти постепенно, "деликатно" начали загонять авангардистов в "нужное русло": вы-де, мол хорошие художники, но должны подумать, что на этих вот кубиках и квадратиках ничего сделать нельзя, надо переходить к утилитарному искусству, делать что-то для народа. И многие послушались и стали этим заниматься. Например Любовь Попова, Степанова, которые принялись делать рисунки к тканям. Попова писала, что была очень довольна, когда видела работниц какой-то фабрики, которые охотно покупали ткани с ее рисунками.

Так и Родченко. Без особого нажима в 1929 году перестал заниматься чистым искусством, своей геометрической абстракцией и увлекся фотографией. Татлин, тоже — в те годы своими руками уничтожил очень много своих рельефов. То есть люди, как бы перестали верить сами себе, а начали сомневаться в правильности избранного пути.

В 1932 году состоялась последняя выставка авангардистов в Историческом музее, где были представлены работы и Малевича, и Поповой, и Клюна, и Родченко.

Я думаю, что если бы запрет властей последовал раньше в то время, когда авангард находился в полном расцвете, художники почувствовали бы, что у них отнимают что-то важное, нужное, каждый, видимо, нашел бы какого-нибудь покровителя, приятеля, знакомого и попросил бы припрятать его картины, сохранить. Но интерес у самих авторов был по-

терян. Они охотно смирились и решили, что так и должно быть...

Бытует мнение, многие так считают, что авангард загубила советская власть. Я думаю, что это не совсем так. Умирание авангарда произошло по нескольким причинам. Одна из них — это та, о которой я уже говорил: у художников начали опускаться руки — весь дореволюционный период они никакого успеха не добивались, потом пришла советская власть и революция, два-три года их поддерживала, но народ продолжал их игнорировать. А вторая причина — разброд среди самих художников. Все это вместе взятое привело к тому, что когда Сталин решил покончить с авангардом и перейти к соцреализму, почва оказалась хорошо подготовленной.

Мне кажется, что так или иначе "затухание" авангарда все равно бы произошло. Ведь это случилось не только в России, тот же процесс произошел и в других странах. Мы часто слышим: "Вот, де-мол, большевики загубили..., на Западе все это развивалось". Неверно. Не большевики были виновны, а само время. Если присмотреться, то и на Западе, в таких странах, как скажем, Англия, Германия, Франция и многих других, модернизм одно время тоже был в загоне, с той только "небольшой" разницей по сравнению с Россией, что там не сажали людей в тюрьму, а просто не признавали. Взять, например, таких художников как Мондриан, Поль Клее, Кубка и многих других. Они очень бедствовали, и, в общем, никому не были нужны. В свое время, как известно, Мондриан со своими картинами ездил в Америку, предлагал их чуть ли не по 500-600 долларов, но никто не покупал. Я встретил в Америке одного человека, который мне показал большого Мондриана и сказал, что купил его за 500 долларов. Я видел людей, которые покупали по 70. по 80 долларов Пауля Клее. Когда я бывал за границей в 1955-56 годах, таких художников, как Кубка, можно было накупить полчемодана всего за несколько тысяч долларов.

Только в последние 16-18 лет появился интерес к авангарду. И я думаю, что это произошло по той причине, что за последние годы наука и техника невероятно развились и произошли колоссальные изменения в мире, которые и привлекли внимание к современному искусству, имеющему к этому

непосредственное отношение. Тот же авангард — его надо рассматривать как "преждевременные роды", он появился на 30-40 лет прежде своего времени и не был понят...

Интересно, что когда была организована выставка моей коллекции в музее Гугенхайма, в "Санди Таймс" появилась большая статья Хилтона Крамера. Он там пишет, нет, не пишет, а вроде кричит — "караул", "посмотрите, русские опередили нас на 30-40 лет", и приводит там репродукции работ некоторых художников, такие как, скажем, "Зеленая полоса" Розановой и "Минимализм" Клюна.

НА САМОМ ДНЕ СУНДУКА

Не так-то оказалось просто осуществить задуманное. Поиск авангардистских вещей был сложным и трудным.

Сначала мне удалось достать две картины Поповой, потом нить оборвалась, и лишь совершенно случайно я снова вышел на нужный след.

Попова умерла в 24-м году. Я познакомился с ее братом Павлом Сергеевичем Поповым, профессором университета, очень красивым, высокого роста господином. Он жил на Арбате, в одном из переулков, в большой квартире. В комнате, где он меня принимал, я увидел две маленькие картины Поповой. Я сказал, что много слышал о его сестре. Он говорит: "Да, вы знаете, она рано умерла, но у меня остались кое-какие ее работы". Я сказал, что собираю ее работы и хотел бы у него купить. А он в ответ: "Почему же нет? Я Вам покажу".

Он повел меня в другую комнату, где у стены в штабель было сложено 10-15 полотен. Все первокласные! И я у него их купил. Павел Сергеевич с большим трудом расставался с маленькими работами. Когда я ему говорил, что и вот эту вещь я бы хотел приобрести, он не соглашался: "Нет, эту я оставлю, потому что она маленькая, ее можно всегда повесить, а вот большие... куда их?"

У Павла Сергеевича был приемный сын, который жил в Звенигороде. Однажды Павел Сергеевич предложил съездить к нему, предположив, что в Звенигороде тоже должны остать-

ся картины сестры. Я поехал... Загородный дом, большой сад. Как раз наступало время цветения, — бело-розовые яблони, вишни. Приняли меня очень хорошо. И первое, что я увидел, когда поднимался по лестнице на второй этаж, картину Поповой — на ней висело корыто...

Потом мы гуляли по саду. И я увидел окно сарая, забитое фанерой. На фанере можно было прочесть номер и ниже подпись: "Попова". Я зашел в сарай и увидел, что на обратной стороне фанеры — прекрасная работа художницы. Я тут же предложил мне ее продать, но хозяин дома ответил: "Нет, не могу, если пойдет дождь, то в сарае все промокнет. Сначала привези мне фанеру, а потом я тебе картину отдам". Пришлось ехать в Москву, искать фанеру. Нужного куска я не нашел, купил два поменьше и привез их в Звенигород. В обмен хозяин отдал мне прекрасную вещь.

Остальные картины он мне тоже продал и очень дешево. Таким образом большинство работ Поповой я приобрел в семье покойной художницы.

В то время я поступил на работу в канадское посольство и некоторые из купленных картин уступил канадским дипломатам, причем недорого, Хаузер купил одну работу, Коллинз купил очень хорошую вещь за 600 рублей, Мур, посол Арнольд Смит* и еще кто-то. В общем, я многих облагодетельствовал. Я на этом ничего не зарабатывал. Продавал, за сколько купил сам. При этом говорил своим покупателям: "Не продавайте эти вещи вы лет десять-пятнадцать. Потом они будут очень дорого стоить". Многие меня послушали. А Хаузер... То ли ему деньги нужны были, то ли... в общем, он очень дешево свои работы продал музею "Модерн—Арт". И они сейчас там висят, и стоят очень и очень дорого.

Я уже говорил, что с начала тридцатых годов авангард в Советском Союзе был предан анафеме, и это поставило в очень тяжелое положение художников-авангардистов и их семьи. Помню, я как-то пошел посмотреть работы художника Климента Редко. Меня встретила его вдова. Я попросил ее показать мне вещи 20-х годов. Она ответила, что они лежат на чердаке, но можно, конечно, достать. И удивилась: "А почему,

---

*Несколько лет назад Смит продал эту картину на "Сотби" за 1,5 миллиона долларов.

собственно, вы интересуетесь ранними работами? Муж считал их своей неудачей, стеснялся их и долгое время даже мне не показывал. Он говорил, что лучшим творческим периодом для себя считает 30-е годы, когда он работал во Франции".

Действительно, 30-е годы у Климента Редко были периодом интересным, плодотворным. Но меня больше интересовали его работы 20-х годов. Вдова сходила на чердак и принесла их. Многие поистрепались. В общем, она показала мне, наверное, двенадцать-пятнадцать картин и спросила: "Георгий Дионисович, откровенно скажите, вам действительно это нравится?" Я ответил: "Очень", "Ну, — говорит, — если хотите, берите все". Я говорю: "Как "берите"? Я куплю!". "Ну, можете немножко заплатить"...

Короче говоря, купил я у нее все эти картины. На прощание она мне сказала:

— Есть еще одна вещь... Может быть хотите посмотреть? Называется "Восстание".*

И она достала откуда-то из-под шкафа большой холст, завернутый в простыню. Я развернул и ахнул. Совершенно потрясающая вещь! В центре кубообразной композиции запечатлены портреты членов советского правительства включая Троцкого, Ленина, Бухарина... Кругом идут бои, пулеметчики, войска. На заднем плане — дома в огневом зареве. В общем, вся картина производила такое впечатление, что, казалось, если подойти ближе, то полыхнет жаром! Я обомлел. И, конечно, купил эту вещь. Сейчас она в Третьяковской галерее.

Время было непростое. Коллекционировать становилось все труднее еще и потому, что люди боялись. Случалось, я получал адрес, по которому продавался Шагал или Кандинский, шел, договаривался. А на следующий день раздавался звонок: "Это Георгий Дионисович?" — "Да". — "Вы знаете, мы раздумали продавать"...

Такое происходило очень часто. А когда появилась известная статья Жданова, все ожидали неприятностей. Нас дома буквально трясло. Картины авангарда сначала у меня висели в большой комнате, но поскольку иногда к нам заходили или

---

*Картина передана в дар Третьяковской галерее и недавно показывалась на выставке "Большая утопия".

управляющий домами или участковый милиционер, то мы с женой решили их из большой комнаты перевесить в спальню, а в гостиной повесить иконы. Это не было под таким запретом, оставлять на виду картины мы боялись. Такое было время... К тому же я был человеком с иностранным паспортом, работал в посольстве и это обстоятельство тоже мешало коллекционированию — люди опасались со мной контактировать. К этому времени мы вернулись жить на Б. Бронную, в тот же дом, но другую коммуналку.

Напротив моего дома на Бронной жила выдающаяся актриса Алиса Коонен, вдова Таирова. И у меня сложились очень милые, дружеские отношения с этой совершенно очаровательной дамой, уже в преклонном возрасте, я всегда с удовольствием целовал ей ручку. Я часто бывал у Коонен. У нее были две маленькие работы Пикассо, картина "Окно" Роберта Делоне — подарок Таирову во время гастролей в Париже, и очень хороший Якулов. Эти вещи мне удалось купить.

В общем удачи сменялись разочарованиями. Однажды мне дали адрес жены Михаэлса Анастасии Павловны Потоцкой, и сказали, что у нее много картин Шагала, и, возможно, она захочет что-то продать.

Жила Анастасия Павловна на Тверском бульваре, где сейчас находится ТАСС. После гибели Михоэлса она осталась с двумя его дочерьми от первого брака. Пришел я к ней, представился. Она показала мне Шагала, эскизы для спектаклей еврейского театра и кое-какие другие работы. На стене я увидел еще двух поздних Шагалов, видимо, парижского или американского периодов — гуаши довольно большого размера: "Пожар в русской деревне во время войны" и написанная в зеленых тонах "Мадонна, изгнанная из Европы". Анастасия Павловна пригласила меня придти через несколько дней.

Однако, уже в первый день знакомства я почувствовал, что она — женщина со странностями. Когда я к ней опять пришел, она предложила мне двух Шагалов: один — парижского периода, козлик с невестой, а вторую работу я уже сейчас не помню, но тоже гуашь, и мы договорились, что я их куплю. Обещала найти еще что-то для продажи и сказала, что позвонит. Я ждал, ждал, она не звонит. Тогда я сам позвонил и пришел к ней. Анастасия Павловна объяснила, что нужно

"поискать вон в том сундуке", но у нее нет времени... Так продолжалось долго — под разными предлогами добраться до содержимого сундука не удавалось.

Наконец, потеряв терпение, я предложил: "Давайте я сам сундук разберу!" Она неожиданно согласилась. "Ну, — думаю, — слава Богу". Начинаю я разбирать этот сундук: какие-то папки, книги, листы, масса пыли и... ничего. Я добрался до самого дна — никаких Шагалов, абсолютно ничего! "А где же Шагалы, Анастасия Павловна?" — спрашиваю. А она: "Вы знаете, я сейчас думаю, может быть они где-нибудь в другом месте? Я должна спросить дочь".

Короче говоря, я так и ушел ни с чем. А те две вещи, которые я в первый день увидел и насчет которых мы договорились, по-прежнему висели у нее... Уходя, я напомнил: "Анастасия Павловна, а как насчет этих вещей?" А она говорит: "Георгий Дионисович, сейчас я не хочу их продавать, а если решу, то дам вам знать". Кстати сказать, эти вещи Михоэлс привез в подарок от Шагала Третьяковской галерее, но там от них отказались.

Прошло, наверное, полгода. Вдруг звонит дочь Михоэлса: "Мама просила вас придти, она согласна уступить вам те две вещи. Она делает папе памятник и ей нужны деньги". Для себя я оценил эти работы по четыре тысячи рублей Пришел. Висят Шагалы. Анастасия Павловна предложила мне чай. Потом сняла картины со стены. "Вот, — говорит, — Георгий Дионисович, если для вас не много, я хотела бы тыщи 3-4 за обе". Ну, сумасшедшая! Я вынул восемь тысяч и положил на стол. Она, увидев эти деньги, остолбенела: "Что вы делаете? Это очень много!". А я в ответ: "Анастасия Павловна, вы оценили неправильно. И я не хочу и не могу пользоваться вашим незнанием".

Я уже говорил, что коллекционер не должен торговаться: лучше переплатить, чем недоплатить. Человек, у которого ты покупаешь, должен остаться доволен, потому что пройдет месяц, два, три — у него ни денег не останется, ни вещи, а у тебя все-таки будет вещь.Кроме того, доброе знакомство может способствовать в дальнейшем коллекционировании. Ведь если кто-то спросил бы ту же Анастасию Павловну: "Вот у меня есть то-то и то-то, не знаете, кому это можно предло-

жить?" Она, конечно, сказала бы: "Георгию Дионисовичу. Он честный человек, он хорошо платит".

В Москве было много коллекционеров и я среди них был поначалу незаметен. Собирали знаменитых русских живописцев, таких как Айвазовский, Репин, Левитан. Шагал и Кандинский для них ничего не значили.

Один из таких коллекционеров по фамилии Дуденко предложил мне купить у него за ненадобностью две картины Шагала. Я осторожно сказал, что хотел бы предварительно посмотреть. Он возразил, что подлинность полотен не вызывает сомнения, т.к. приобретены в "надежном месте". "Что ж, — отвечаю я, — тогда я их возьму".

Позднее я понял, что коллекционер не должен всем подряд рассказывать, к кому он ходит и где что покупает. Но я жил тогда с открытым сердцем и не боялся, что кто-то мне повредит, потому что никто особенно не интересовался тем, что я собираю. Словом, я отправился к Дуденко и он показал мне картины. Одна из них изображала, как сейчас помню, шагающего человека. Надо признаться, что работы показались мне немного странными, не очень похожими на Шагала. Однако запрашивал Дуденко немного и я решил купить.

На другой день ко мне пришел Будкевич, коллекционер, хорошо знавший Дуденко и предупредил: "Не покупай этих Шагалов". "Почему?" — спрашиваю. "А потому, — говорит, — что они фальшивые. Я их тоже видел. Это не Шагал. И подпись поддельная".

Озадаченный таким предупреждением, я решил позвонить художнику Фальку. Он в этот вечер собирался на концерт, но я предложил заехать за ним на машине на час раньше, заскочить к Дуденко, чтобы он мог удостовериться, Шагал ли это.

Так мы и сделали. Фальк внимательно осмотрел картины и заявил: "Нет сомнений, это — стопроцентный Шагал. Одну из них он написал для Бэллы — своей жены, когда родилась Ида". Получив такое авторитетное подтверждение, я купил картины.

Потом мы с Дуденко сели выпить немножко водочки и я рассказал о предупреждении Буткевича. "Ну и негодяй! — воскликнул Дуденко, — ведь он приходил ко мне и пытался выменять у меня эти картины, да только я отказался".

С Фальком я познакомился в 50-х годах. Он тогда жил на площади, где раньше стоял храм Христа Спасителя. Для художников в те времена Фальк был патриархом. И в то же самое время он был "запрещенным" опальным, поскольку числился среди основателей "Бубнового валета".

Помню, однажды, я тогда был совсем молодым человеком, Фальк стал мне показывать свои картины, одну за другой. Повторяю, тогда я был совсем молодым, сейчас я бы так не поступил, но после каждой новой картины я ему говорил: "Это похоже на такого-то художника, а это напоминает мне того-то и т.д." В конце показа Фальк не выдержал и воскликнул: "Кто ты такой!" Я начал было извиняться, спохватившись, что допустил бестактность, но он перебил меня и закричал: "Да это просто фантастично! Удивительно, как ты все чувствуешь". После того мы подружились с Фальком.

Каждый вечер Фальк и его жена играли на рояле в четыре руки. Она была очень мягкой и приятной женщиной, а Фальк... даже когда был уже в возрасте, волочился за девушками. Он был женат четыре или пять раз. И всякий раз, когда расставался с прежней женой, то та советовала своей приемнице, что нужно готовить на обед, какие у мужа привычки...

Я купил у Фалька две работы, но потом их продал, сочтя, что этот мастер не вписывается в мою коллекцию. Мне казалось, что от кубизма, которым Фальк увлекался, он должен был бы перейти к авангарду. На мой взгляд, он был в числе 25-30 художников, которые стояли на платформе, ожидая поезда в будущее. Однако по неизвестной причине, Фальк в этот поезд не сел, так и остался стоять на платформе. Когда же поезд ушел и Фальк познакомился с работами уехавших на нем художников, то стал утверждать, что те избрали неверный путь. А он сам поверил в реалистическое искусство и стал писать в новой манере. Одна из его картин, как сейчас помню, картофелины вместе с колодой карт в корзине, и некоторые из портретов очень близких к Рембрандту. Иногда он писал свои работы по нескольку месяцев.

Как-то он показал мне один женский портрет. Замечательный! На следующий день пришел Рихтер и тоже был в восхищении, но стал умолять: "Роберт, не прикасайся больше, оставь все так, как есть, ты создал величайший шедевр..."

3. Зак. 1979

Однако Фальк не послушался. Он продолжал работать над портретом, что-то переделывал и в конце концов испортил. Что-то неуловимое исчезло...

ДРУГИЕ И КАНДИНСКИЙ

После того, как мне удалось приобрести большое количество работ Поповой, я пустился в новый поиск. Меня очень интересовала Ольга Розанова. Было очень трудно напасть на ее след, За все годы коллекционирования мне удалось достать всего шесть или семь ее работ, включая акварели и гуашь.

С большим трудом отыскал я и несколько работ Клюна, которые тут же приобрел. С ним тоже было очень трудно. Многие его работы пропали. У Клюна был дом в Сокольниках. Когда началась война, эвакуация, ему пришлось оставить этот дом, как рассказывали, битком набитый работами художника. Знакомая актриса, снимавшая там же комнату, не стала эвакуироваться и осталась. Клюн попросил ее присмотреть за картинами. Часть работ хранилась на террасе. Доступное место для мальчишек из соседних домов! Они часто забирались туда и таскали работы. Таким образом пропали многие вещи.

И у самого Клюна по пути из Москвы тоже случилась большая неприятность. Он взял с собой в эвакуацию большой пакет и положил его в мешок. Там была вся переписка Клюна с Малевичем и много рисунков Малевича. На одном из полустанков, когда Клюн пошел за кипятком, веры украли этот мешок. Думали, наверное, что там продукты. И этот драгоценный материал бесследно исчез...

Позже мне все-таки удалось познакомиться с одной из дочерей Клюна. У нее хранилось совсем немного работ, но она мне их уступила и дала вдобавок бесплатно, несколько рисунков, гуашей, сказав: "Это мне не нужно, но вам, может быть, пригодится". И при этом сообщила адрес своей сестры, к которой я тут же отправился.

Ее коллекция оказалась богаче. И почти все мне удалось приобрести.

Позже я получил еще несколько адресов и купил еще несколько Клюнов. Таким образом, у меня образовалось большое собрание этого художника. Примерно в то же время мне удалось купить несколько работ Татлина, Лисицкого, Родченко. Тогда же я познакомился с Кудряшевым.

Кудряшев был близким другом и учеником Малевича. Он работал в Оренбурге и с Малевичем вел активную переписку. В Оренбурге был создан театр Кудряшева, использовавший супрематические построения. Но в 30-е года на это направление власти наложили арест. Напуганный Кудряшев прекратил эксперименты. В Москве он устроился художником в редакцию науки и медицины одного энциклопедического издания, где рисовал иллюстрации — кишки, сердце, легкие и тому подобные вещи.

Когда я к нему впервые попал, он мне показал больше двадцати работ 20-х годов. До этого он никому их не показывал. Правда, через два-три дня у Кудряшева появился известный профессор-кардиолог Мясников, тоже коллекционер, у которого имелось собрание русских художников прошлых веков. Позднее он тоже начал интересоваться авангардом.

Короче говоря, мы вместе с ним тогда у Кудряшева почти все и купили. Мясников взял, по-моему, три или четыре работы, а я — двенадцать-четырнадцать. После этого у нас завязалась дружба с художником. Я очень часто приезжал к Кудряшеву. Он был милый человек, но очень больной, туберкулезный. И вот как-то спустя год или полтора после нашего знакомства я приезжаю к нему, а он мне показывает абстрактные вещи, очень близкие к тому, что я у него купил. Я спрашиваю: "А это откуда?" А он отвечает: "Вы знаете, я их только что нарисовал". Я удивился: "Зачем вы это делаете? Ведь время прошло, сейчас нужно делать что-то новое. Он объяснил так: с прежних времен остались рисунки и акварели, с которых он собирался нарисовать картины, но не смог — не было времени, а теперь решил реализовать прежнее намерение. Меня это объяснение не убедило, я сказал, что он напрасно это делает. Тем не менее он, мне кажется, продолжал задуманное. Таким образом появилось десять поздних повторов его раннего цикла. Тем временем здоровье его ухудшалось, с каждым месяцем он чувствовал себя все хуже...

На похоронах жена плакала и обращалась к умершему мужу: "Ванечка, мне нужно закончить дела твои, как только закончу, приду к тебе". После этого она стала усиленно распродавать все, что осталось от покойного, в том числе и последние его вещи. Предлагала и мне, но я категорически отказался: повторы могут перепутать карты. Тогда она обратилась в Третьяковскую галерею. Не знаю, сказала ли он там, что это — поздние работы или предложила как вещи 20-х годов. Но галерея их купила, и сейчас эти работы находятся там вместе с автопортретом художника, который я хотел когда-то приобрести, но почему-то это не удалось. После того, как вдова все дела устроила, она достала кусок веревки и повесилась в своей квартире. Как и обещала на похоронах мужа.

Для коллекционера очень важны контакты с людьми. Надо поддерживать и развивать связи. Тяжкий груз ложится на домашних. Надо отдать должное моей жене Зине — она всегда поддерживала меня и помогала. Каждый день, начиная с шести часов вечера, а по воскресеньям и субботам весь день с утра до вечера ко мне приходили люди: художники, критики, музыканты. Я принимал всех, никому не отказывал, показывал коллекцию, старался угодить. Бывали дни, когда я назначал одной группе людей в 12 часов, следующим в три и в шесть часов. И вот начиналось: люди шли и шли, конца этому не было, и Зина, конечно, уставала до смерти.

Помню, был такой случай. В Москву приехал министр культуры Греции. Я сказал жене, что пригласил его на пять часов на чашку чая, чтобы показать коллекцию. Время уже четыре, пятый. Я стал отбирать картины для показа. А без четверти пять смотрю, Зина собирается уходить. Я говорю: "Ты куда? Ведь министр должен придти!" А она отвечает: "Я так устала, что не хочу видеть ни министров, ни даже самого короля..." В общем, случалось, доходило до конфликтов.

Но, тем не менее, все продолжалось. И вот в один прекрасный день звонит мне некий молодой человек, фамилии его не помню, но назвался Володей. Говорит, что занимается Булгаковым, знаком с его вдовой, и так между делом спрашивает, интересует ли меня Кандинский? Откуда? Что? Оказывается, вдова секретаря Кандинского дружит с Еленой Николаевной Булгаковой.

Я, конечно, очень заинтересовался и попросил Володю разведать у Бобровой насчет возможности что-то у нее купить. Но первый его визит к вдове оказался неудачным: приняли как-то странно, сказали, что ничего нет, никаких картин, это — ошибка... Володя расстроился и тоже был разочарован.

Прошло месяца два или три, как снова мне звонит Володя и говорит, что вдова просит придти и посмотреть Кандинских. На этот раз мы отправились вместе. Войдя в квартиру, я сразу увидел на стене работы Кандинского. Потом Боброва достала папки и положила на стол. Я думал, что умру от инфаркта! Передо мной лежали гуаши высочайшего класса! 13-й, 14-й, 16-й год, 17-й год... Все в идеальном состоянии. Одна гуашь была свернута в свиток для фриза, примерно, 60 на 40 сантиметров. Вдова говорит: "Если вам это нравится, то можете купить. Мне сейчас нужны деньги" Месяца за два до моего визита у нее были из Третьяковской галереи, но предложили очень маленькую цену, и она не стала продавать.

У меня с собой было немного денег. На все, конечно, не хватало. Ведь я рассчитывал приобрести одну, в лучшем случае две вещи Кандинского... А тут — целый "клондайк"! Все, что у меня было в кармане я оставил, а на следующий день стал бегать по друзьям, собирать нужную сумму, чтобы купить все остальное. Я приобрел сразу четырнадцать работ!

На прощанье вдова мне сказала: "Знаете, Георгий Дионисович, у моей дочери есть еще один Кандинский, масло, большого размера, "Красная площадь", и она хочет продать". Разумеется, я не отказался!

Таким образом, экспозиция Кандинского у меня собралась значительная. К великому несчастью, восемь или девять гуашей позже были украдены из моей квартиры.

Эта удачная покупка стала, так сказать, моим вторым "заходом" по Кандинскому. Первые его работы я приобрел у сестры жены художника — Нины Кандинской и ее матери Ольги Платоновны Крыловой. Их адрес я узнал случайно. Они жили в одном из больших арбатских домов на третьем этаже. В первое посещение мне удалось купить три работы из множества имевшихся в этой семье. Эти работы висели когда-то у Василия Васильевича Кандинского в его кабинете. Потом

я купил несколько акварелей, потом еще маленькие масла, и постепенно приобрел все остальное.

Я сдружился с этой семьей. Ходил к ним, пил чай, иногда они меня приглашали на обед...

С Ниной, жившей в Париже, у них никакой связи не было. С тех пор, как она уехала — ни писем, ни вестей. Ольга Платоновна, очень милая женщина, страдала от этого.

Через некоторое время я собрался в Париж и сказал сестре Нины — Татьяне Николаевне: Наверное, месяца через два я смогу разыскать вашу сестру и рассказать ей о вашей жизни в Москве...

Татьяна Николаевна и Ольга Платоновна обрадовались и поблагодарили меня, я думал о том, что делаю доброе дело. Но одновременно я, как выяснилось, "зарезал курочку", которая несла золотые яйца. Сам себе вынес приговор!

Приехав в Париж, я разыскал Нину. И тут же понял, что это — ужасная, страшная женщина! Я рассказал ей о нелегкой жизни матери и сестры. Она послала со мной посылку для них. Но главное, я убедил Нину в том, что вполне можно ехать в Москву, это вовсе не опасно. Через год Нина приехала и... увезла в Париж полный чемодан работ Кандинского, все гуаши... У матери с сестрой осталось лишь две работы. А ведь они выручили Нину с мужем в трудные минуты.

Ольге Платоновне я очень симпатизировал. Ей было около 80 лет, но она сохранила живость, энергию, всем интересовалась, читала газеты. Она мне часто повторяла: "Георгий Дионисович, я скажу Нине, чтобы она Вам подарила самого большого и самого хорошего Кандинского, который у нее есть, Вы так много сделали для нашей семьи".

Но Нина буквально ограбила их... Они продолжали жить в комунальной квартире. Я упрашивал Нину. "Купите им квартиру за доллары, двухкомнатную или трехкомнатную". Она занялась этим, но купила квартиру только спустя три года — двухкомнатную. Ужасно была жадная, ужасно. Позднее она познакомилась с послом Канады и часто останавливалась в его доме. Иногда она брала у посла сертификаты серии "Д" и покупала метери и сестре продукты, какую-то мелочь: сто грамм масла, сто пятьдесят ветчины, баночку шпрот и т.п. И все! Потом, наконец, она купила им холодильник и без конца

об этом говорила: "Я им купила холодильник. Вы видели? Какой я им купила холодильник!"

В один из приездов в Москву Нина мне сказала: "Я не знаю, что делать, я в ужасном положении. Сейчас хотят издать на русском языке работу Кандинского 13-го года "О духовном в искусстве". Но он написал ее по-немецки и теперь надо переводить на русский. Это очень трудно. Меня просят помочь, но я ничего не могу сделать". Я говорю им: "Зачем же переводить, когда текст" духовном в искусстве" уже есть на русском языке?" "Этого не может быть!". Тогда я рассказал, что еще в 13-м году лекцию "О духовном в искусстве" полностью напечатал один журнал того времени. Я показал ей этот журнал на русском языке. Она побледнела, заохала-заахала: "Вы мой спаситель, не может быть! Ах, дайте мне этот журнал!" Но я ответил, что журнал дать не могу, потому что это мой единственный экземпляр и достать его очень трудно. Но пообещал через два-три дня сделать фотокопию статьи. Так и сделал. Она меня долго благодарила: "Вы меня спасли, Вы не знаете как это важно, большое спасибо, Георгий Дионисович, большое спасибо!" Я попросил, чтобы она прислала экземпляр, когда выйдет книга.

Прошел наверное год. Мне сказали, что на Западе вышла книга Кандинского "О духовном искусстве" на русском языке. Я написал в Париж, "Уважаемая Нина Николаевна, низко кланяюсь, это Георгий Дионисович, погода у нас такая и сякая" — ну как обычно письма начинаются. А в конце письма попросил прислать экземпляр книги. Я наивно думал, что она мне пришлет экземпляр, да еще с надписью: "Георгию Дионисовичу с благодарностью... и т.п." Увы! В ответ я получил письмо с адресом издательства, где можно заказать книгу. Вот так...

Как-то она пришла к нам увешанная бриллиантами как лошадь, все гремело, здесь пять карат, тут шесть карат... Пришла и хвастается: "Вот это я купила за 600 тысяч, это — за столько-то". Тут вошла Катя, моя внучка, тогда еще совсем маленькая. Поздоровалась: "Девочка, как тебя зовут?" — "Катя". — "А ты знаешь кто я? Я — Нина Кандинская. Я жена Василия Васильевича Кандинского". Катя говорит: "Хорошо, я буду знать". И ходит, гремит этими бриллиантами. А я ей говорю: "Нина, Вы знаете, это опасно. Вас же могут убить".

Я как в воду смотрел! Через несколько лет ее и вправду зарезали в ванной. Должен сознаться, я совсем не переживал. До конца дней она судилась с теми, кто что-либо напечатал, опубликовал без ее разрешения. Подавала в суд, тянула деньги... Ну, Бог с ней.

МОБИЛЬ НА ЧЕРДАКЕ

Был я знаком и с Родченко, которого в те годы не считали за художника, полагали, что он всего-навсего фотограф. А ведь это был один из крупнейших авангардистов.

Первым его увидел и оценил американец Альфред Бар *. Он еще в 20-е годы посетил Москву, встречался с Родченко и тот ему подарил, по-моему, несколько работ. Но в Москве и в Ленинграде Родченко и поныне считают художником третьесортным. Потому все основные его вещи, имевшиеся у меня, я, покидая Москву, увез на Запад. Когда шла дележка между Третьяковской галереей и мной, эксперты галереи говорили: "Если хочешь, бери Родченко, а нам отдай вот эту маленькую Гончарову". То есть они легко меняли большой холст Родченко на Гончарову, потому что считали, что Гончарова — выдающийся художник, а Родченко — хороший фотограф.

Я считаю, что Родченко — фигура трагическая. С 1915-го по 1920-й год он создавал шедевры, намного опережая свое время. Я имею в виду его линейные геометрические построения, которые он начал делать где-то уже в 1916-м году. Совершенно неожиданно, в году двадцатом он перестал этим заниматься. Как отрезал! Взял в руки камеру, увлекся фотографией, стал делать портреты Маяковского, комбинировать фотографии, принес что-то новое в это искусство. Но как художник перестал существовать.

Я думаю, что на него подействовало мнение властей, что пора, де-мол прекратить заниматься всякими глупостями и писать разные кубики и квадратики, надо переходить к чему-то утилитарному и приносить пользу стране, народу. Он ведь

---

*Тогдашний директор Музея современного искусства в Нью-Йорке

до конца дней оставался глубоко ортодоксальным коммунистом, членом партии и очень верил в учение Маркса и Ленина.

Уже позже, в 40-х годах, он опять взялся за кисть, и появляются вещи фигуративного типа, чем-то очень отдаленно напоминавшие, может быть, Бекона... цирки, клоунада, портреты.

Уже совсем в поздний период, в конце войны Родченко опять вернулся к абстракции. Но уже не геометрической, а скорее сюрреалистической. И, видимо, ощутил влияние из-за океана. Как раз в то время в Америке началось это движение, и оно каким-то образом коснулось русского художника...

Но то, что он делал в период с 1915 года по 1920 год, это было самобытно, это было чудом.

Мне кажется, и я говорил где-то на одной из лекций, что период "Баухауз" Кандинского, когда он резко порвал с тем, что делал до 1920 года, то есть абстрактным экспрессионизмом, и перешел к этим геометрическим построениям, навеян был тем, что делал Родченко. В те годы, когда Родченко усиленно работал над своими геометрическими и линейными построениями, Кандинский у него дневал и ночевал. Они были друзьями, и Кандинский даже оставил ему несколько работ.

Две вещи Кандинского мне удалось у Родченко приобрести. Это была акварель и одно небольшое масло 1913 года.

Я думаю, что на "баухаузский" период Кандинского повлиял также Иван Клюн. Резкий переход, даже перелом в творчестве странен — Кандинский попадает совершенно в другое русло. Но это — личное мое мнение, с этим можно соглашаться и не соглашаться.

Поздний период творчества Кандинского — 30-е — 40-е годы представляется мне большим спадом. Свои шедевры он создал, начиная с первой абстракции 1910 года до начала 20-х. В России же сделал только одну вещь перед отъездом, близкую к тому, что делал в "Баухаузе". Все остальное написано в Германии.

Я как-то спросил Родченко, что случилось с мобилями, которые он делал. Видимо, большую часть он уничтожил. Но один мобиль случайно остался и валялся где-то дома на антресолях. Он предложил: "Слазай, посмотри, если найдешь, то возьми, все равно пропадает."

Я, естественно, полез. Мобиль был разобран, лежал заваленный газетами, в пыли. Я его достал, и он мне действительно подарил его. У меня набралось довольно много работ Родченко. Что-то я купил, что-то он мне подарил. Семья и дети художника относились к его наследию спустя рукава, Никого оно особенно не интересовало. Позже, когда западники начали проявлять интерес, стали приезжать и посещать квартиру Родченко, его дочь Муля очень серьезно взялась за дело и стала самым настоящим цербером, охраняющим наследие отца. Она, наконец, начала беречь и хранить каждый рисунок, а если и продавать что-нибудь, то очень осторожно. Сам же художник при жизни своей не верил, что когда-нибудь его искусство будет признано. В России в те годы вообще в это никто не верил...

Я помню одного очень известного критика, уважаемого человека, с которым мы как-то сидели, беседовали: "Жорж, — сказал он мне, — все, что ты делаешь, это, наверное, очень хорошо. Но ты ведь ублажаешь сам себя. Ты уверяешь, что придет время, авангард признают в Советском Союзе. Я скорее поверю, если земля превратится в небо, а небо станет землей! Чтобы признали авангард — никогда!"*

А я с этой верой жил все время. Первые пятнадцать лет, которые я собирал и коллекционировал, все вздыхали, все меня жалели, думали, что я делаю большую глупость. Как-то, помню, один грек, который вынужден был оставить посольство и срочно уехать, оказался без денег. Был он очень милый человек, мы с ним дружили и мне хотелось как-то ему помочь, но денег в тот момент у меня не было. Я предложил: "Хочешь подарю тебе работу Кандинского?" Очень хороший рисунок, такой... черно-белый, очень красивый, подписной. Возьми — продашь, и у тебя будут деньги". Через месяц он написал мне: "Большое тебе спасибо. Но, Жорж, не увлекайся ты этим. Это и на Западе ничего не стоит. Я пошел в самый хороший магазин в Стокгольме и мне за этот рисунок предложили всего две тысячи крон". Однако два года спустя он мне прислал уже другое письмо из Америки: "Ура! Я продал твоего Кандинского за две тысячи долларов". Я торжествовал. Но и эта цена была,

*Речь идет об академике Д.Сарабьянове

конечно, низкой. Помню, в 58-м году я послал Нине Кандинской фотографию большой картины "Красный овод", метр на 80, или, может быть, больше. Нина меня поздравила и сказала, что это — настоящая вещь, и написала, что эта работа должна стоить по крайней мере 6-7 тысяч долларов. Всего-то. Притом на Западе. А уж в Москве и говорить нечего.

Должен сказать, что если бы не я, то много авангардистских работ погибло бы. В то время в Советском Союзе, кроме меня, это было никому не нужно. Ведь только после того, как я стал собирать, демонстрировать свою коллекцию, ее стали смотреть иностранцы, они начали специально приезжать в Москву — искать картины, покупать их. Но когда они приходили туда, где, по их мнению, должны быть картины, там уже было пусто. Там уже побывал Костакис! Приходили в другое место — и там побывал Костакис! Было как бы большое озеро, полное рыбы: большой, маленькой, белой, красной, а на берегу сидел рыбак — Георгий Костакис. Вокруг полно народа — но все они мясоеды. Они никогда не ели рыбы и не знают, как она хороша. Потом кто-то из них попробовал рыбу и решил: "Неплохо!" Тут все кинулись ловить, а рыбы то уже осталось мало. Вот так все и произошло...

Но многие и многие работы еще оставались, и нужно было искать и удавалось находить, особенно в Ленинграде. Мне, к сожалению, туда попасть оказывалось трудно и многое я упустил. Купили ленинградские коллекционеры, другие... Но, в общем, Россия была в этом отношении "Клондайком".

Например, мне удалось купить большое собрание работ Эндеров*. Эту замечательную группу художников — "Зорвет" возглавлял Матюшин. Они начинали где-то в двадцатых годах — 1922-25. Потом все затихло, но позднее "Зорвет" провел очень большой эксперимент в духе постсуперматизма. Я купил много их работ. Но большую их часть у меня украли. Случайно осталось работ 250, которые хранились в другой комнате.

Мою коллекцию охотно посещали послы, советники, директора западных музеев, поэты, писатели, приезжавшие в Москву. И Стравинский у меня был, многие, многие другие видные деятели. У меня есть гостевая книга, в которых много интересных

---

*Семья Эндеров: Мария, Ксения, Юрий

записей. Что же касается русских, то, дело даже не в том, что они боялись приходить ко мне — иностранцу! — Я думаю, что они считали недостойным для себя идти смотреть коллекцию какого-то там неизвестного Костаки, который собирает непризнанное искусство. В общем, меня игнорировали.

Однажды в Москву приехал сэр Норман Рид* и попросил пригласить Антонову — директора Пушкинского музея и еще кого-нибудь из искусствоведов. Я поехал в музей к Антоновой, передал приглашение, она ответила, что "С большим удовольствием, конечно. А можно придти с мужем?" Я говорю: "Конечно, пожалуйста приходите, будет сэр Норман Рид, английский посол..." На следующий день я был на каком-то большом приеме, где встретил не безызвестную Бутрову — она была правой рукой министра культуры. Очень неприятная особа. В общем, я сделал глупость и сказал Бутровой: "Послезавтра у меня будет сэр Норман Рид и Антонова обещает придти. Может быть, Вы тоже придете?" — "Да, да с удовольствием". Ждем мы с женой гостей, время близится к восьми часам... Раздается звонок: "Просили передать, что мадам Бутрова не сможет приехать, у нее экстренное заседание". Я Зине говорю: "Вот увидешь — сейчас будут звонить и от Антоновой". Так и есть, через пять минут: "Это звонят от Антоновой. Вы знаете, у нее заболел ребенок, не с кем оставить, в общем, они не смогут..."

Я пробовал приглашать Алпатова — очень известного искусствоведа, Лазарева — крупнейшего специалиста по Византии. Благодарили. Но никто никогда не появлялся.

Единственный раз, помню, один из моих друзей позвонил и сказал, что то ли из Академии наук, то ли из Института физики группа людей хочет приехать посмотреть коллекцию. Назначили день и час. Приехали человек двадцать, молодые, пожилые, старые. Среди них и академик Келдыш и, наверное, те, кто запускает спутники — потому что вид у них был важный и серьезный.

Ученые провели у меня, наверное, часа три и всем интересовались, благодарили и говорили, что я делаю большое дело.

---

*Тогдашний директор Коралевской Академии, который сказал мне: "Сделай Вы для Великобритании то, что Вы сделали для России, Вы бы стали сэром Костаки"

Но когда я дал им гостевую книгу, чтобы они что-нибудь написали, они замешкались — "в следующий раз". И когда здоровались, своих имен не называли, а бормотали что-то нечленораздельное. Так я и не узнал, кто это был...

ЗНАКОМСТВО С ШАГАЛОМ

В 1952 году я начал получать письма от Марка Шагала. Связал нас атташе по культуре французского посольства Александр Кем. Он рассказал Шагалу, что вот-де в Москве есть такой человек, у которого имеются ваши работы, который всячески пропагандирует ваше искусство и т.д. В общем, Шагал прислал мне письмо и, помню, книжку с надписью: "Георгию Костакису с благодарностью. Марк Шагал". Когда впоследствии эту книжку увидели в Париже специалисты, то посетовали, что ни у кого из них нет книжки, подписанной Шагалом "с благодарностью".

Но это впоследствии, а в те годы в России, да я думаю, что и во Франции, Шагал не был широко известен... Его подъем начался в конце 50-х, когда большая его выставка состоялась в Гамбурге. После этого слава Шагала быстро разнеслась, его выставки стали часто устраиваться.

В общем, у нас завелась большая переписка. Очень многие письма Шагала сопровождались рисунками, набросками картин, которые он оставил в России. Он интересовался, спрашивал меня, не видел ли я такую картину, не знаю ли я, где она находится и т.п. И в одном письме попросил разыскать свои пропавшие работы.

"Дело в том, — писал он, — что когда я был совсем молодым художником, то обратился в Ленинграде к одному человеку, у которого был магазин, где торговали рамками и фотопринадлежностями. Фамилия этого человека была Антокольский. Я принес ему работ двадцать на маленьких картонках. Это, в основном, были вещи 1910-11 годов. Я оставил их у него и попросил кому-нибудь продать. Антокольский взял работы и просил зайти "через две или три недели". Но, когда я пришел в назначенный срок, Антокольский в буквальном смысле сло-

ва вытолкал меня вон, заявив: "Я у тебя ничего не брал, ничего не знаю". Я пробовал спорить, что-то доказать, но бесполезно. В общем, эти вещи у него так и остались. Вот, может быть, Вы сумеете найти какие-нибудь концы..."

Я начал поиск. Антокольского, конечно, к тому времени в Ленинграде уже не было, он уехал. Куда? Стал искать адрес и выяснил, что Антокольский обосновался в городе Серпухове под Москвой. Я направился туда и с трудом отыскал семью Антокольских. Сам он к тому времени уже умер, но остались дочь, сын, еще кто-то. Очень милые, симпатичные люди. Когда я к ним обратился относительно картин Шагала, они ответили, что ничего об этом не слышали и таких картин не видели. Я настаивал, попросил поискать, может работы лежат где-нибудь в доме? Но так ничего и не нашли... Я написал об этом Шагалу и он был очень огорчен.

В это же примерно время мне кто-то предложил написанную маслом двустороннюю картину Шагала. С одной стороны был портрет Бэллы, его жены, а с другой стороны — еврейское местечко с кривыми домиками, покосившейся церквушкой. Типичный Шагал. Правда, работа была не яркая, а в каких-то серо-коричневых тонах, не очень эффектная, так сказать. Я решил послать фотографию Шагалу в Париж. Он мне ответил: "Я так много работ оставил в Москве, что сейчас хорошо не помню все. К тому же фотография недостаточно четкая". Словом, ничего определенного не сказал.

Настала середина 50-х годов. Предоставилась возможность выезжать за границу. Первая поездка предстояла мне в Швецию. Я хотел показаться там врачам по поводу больной почки. И надеялся, что заодно удастся вырваться в Париж.

В Париже первым делом навестил Ларионова и Гончарову. Я был у них вторым человеком из СССР. Первым к ним попал какой-то искусствовед-музыкант. Меня очень тепло приняли, обнимали, целовали. Ларионов сказал, что слышал о моей коллекции и посоветовал: "Голубчик, Вы здесь ничего не покупайте, никакие патефоны, граммофоны, ничего, ничего... А возьмите у нас — у меня и у Наташи, как можно больше картин и отвезите их в Москву. Если не будет места в Вашей коллекции, подарите часть работ другим понимающим толк людям. Я знаю, что на Родине нас очень любят и собирают. И

еще зайдите в Министерство культуры и скажите, что мы очень хотели бы все наше наследие отправить в Москву, потому что французы приняли нас плохо, они и не считают нас художниками".

Очень резко он французов обругал! Мне даже не хочется повторять слова, которые сказал Ларионов.

Жили Ларионов и Гончарова на окраине Парижа в двухэтажной квартире, очень тесной. Все было битком забито вещами: какие-то коробки, картины, рисунки, в общем, негде шагу шагнуть. А оба были уже старенькие, в состоянии увядания. У Михаила Федоровича тряслись голова и руки. Гончарова, когда я пришел, сидела за натюрмортом и кисть держала двумя руками, одной рукой она писать уже не могла. Ларионов же взял один маленький каталог и хотел мне написать на память там несколько слов, и на это простое дело у него ушло, наверное, больше часа. А написал он всего несколько слов: "Дорогому Георгию Дионисовичу на память от Михаила Ларионова о нашей встрече в Париже". Писал и после каждого слова спрашивал у Гончаровой: "Дорогому... а после "о" что? После этой буквы какую? А это слово как пишется?" Тем не менее, мы хорошо побеседовали. Михаил Федорович рассказал о том, как он покинул Москву, о своей дружбе с Львом Федоровичем Жегиным, которому он оставил все свое наследие, все картины, которые были у них с Гончаровой. Лишь меньшую часть они взяли с собой. Основное просили Жегина переслать им во Францию, что, в общем, Лев Федорович позднее и сделал. Однако многие мелкие работы, в основном рисунки, остались у Льва Федоровича — Ларионов разрешил ему их оставить себе.

Ларионов был в некоторой обиде на Нину Кандинскую, с которой спорил о том, кто сделал первую абстрактную вещь. Кандинская считала, что ее муж в 1910 году. "А я, — говорил Михаил Федорович, — доказывал, что я еще в 1908 году. Но дело все в том, что "лучизм" мой был зафиксирован лишь через четыре года. А все потому, что мы, русские — народ безалаберный, полагаемся на нашу память и на потом — на завтра. А Кандинский был человек иного, европейского что ли толка, он все фиксировал, — каждый свой шаг."

Об этом Михаил Федорович говорил с такой обидой, что слезы наворачивались на глаза. Он считал, что "лучистский" период — это был как бы эксперимент очень короткий, и он сделал очень мало вещей в этой манере. После "лучизма" он тут же перешел к "солдатскому" периоду. Его "лучистские" работы, по-моему, должны быть в Третьяковской галерее. Кое-что у Жегина из того, что оставалось — две-три я приобрел.

(Приехав в Москву, я сразу рассказал Жегину о споре Ларионова с Кандинской по поводу приоритета в области абстрактной живописи. Лев Федорович обратился к своей жене: "Ты не помнишь, когда мы поженились?" Она ответила, что это произошло в конце 1908 года. Тогда Лев Федорович говорит: "Я припоминаю, что одну из "лучистых" вещей, из тех, которые теперь у Вас, Михаил Федорович подарил мне в день свадьбы". В общем, получается так, что Ларионов прав. Какой смысл был Жегину фальсифицировать даты. Тем более, что работы Ларионова он мне уступил за очень низкую цену.)

...Потом начались чаи. Гончарова вытащила, наверное, двенадцать банок варенья: малиновое, клубничное, абрикосовое, крыжовник и т.д. И каждая баночка была покрыта бумагой и завязана веревочкой. И вот пока она эти баночки открывала, тоже прошло много времени. Потом она подарила мне рисунок монашенки и написала: "Дорогому Георгию Дионисовичу на память, чтобы он и другие, видя этот рисунок, вспоминали и обо мне. Наталья Гончарова". И еще подарила лучистую вещь, маслом, позднего периода, в красно-оранжевых цветах. "А завтра, — говорит, — мы Вам все приготовим, картоночку с картинами соберем..."

В тот день, когда я был у них, в Париже устраивали большой прием в мою честь. Короче говоря, я сижу, пью чай, вдруг раздается телефонный звонок: "Где Вы пропали? Уже люди пришли, Вас ждут, давайте срочно приезжайте" и т.п. Я взял такси, приехал на прием. Народу полно, выпивают, закусывают. И один по имени Миша сообщил мне, что с Шагалом созвонился, он будет рад меня видеть, ждет завтра у себя в Сан-Поль-де Вансе и даже приглашает погостить у него недельки две-три.

Я ответил, что две-три недели не получится, дней десять — с удовольствием!

На следующий день мы с этим Мишей должны были лететь в Сан-Поль-де Ванс. Спустился я в холл гостиницы, жду десять минут, двадцать. Нет его. Пошел звонить. Подходит к телефону заспанный Миша: "Алле? Ой, знаете, я проспал, ах! Ну, не беспокойтесь, самолеты тут всегда опаздывают. Я сейчас приеду". Короче говоря, очень быстро он приехал вместе со своим не то сыном, не то пасынком — молодым французом. И мы помчались на аэродром по пустынным улицам Парижа, так что полиция только вправо и влево отскакивала. Я думал, что помру от страху! Приехали на аэродром, моторы уже заведены, чуть ли не трап подвели, хорошо нам разрешили на машине подъехать к самолету. Через две минуты мы в воздухе, летим к Шагалу! Внизу — Ницца, горы, озера. Но такая болтанка! И самолет скрипит так, что кажется вот-вот на части развалится. Слава Богу, все обошлось.

Шагал встретил нас, расцеловал. Вышла Вава, его жена. Мне тут же выделили комнату. Дом в Сан-Поль-де Вансе был тогда старый. Позже он переехал в другой, где я тоже побывал. Но старый дом мне понравился, он располагался на двух уровнях, как обычно — так часто строят во Франции, да и Греции тоже. Часть дома стоит внизу, на земле, а другая — уходит на три-четыре метра вверх по склону. Наверху была мастерская Шагала и гостевая комната, из которой можно было прямо выйти в сад, а деревья гнутся под тяжестью белых слив. Эти сливы уже лежали толстым слоем на земле. Шагнул я из окна в сад и утонул в них ногой. Одну взял — сок так и брызжет. "Почему же погибает такой замечательный урожай?" — спросил я хозяина. Шагал ответил: "Никому здесь сливы не нужны. Одно время приезжали из монастыря, брали, а сейчас уже перестали".

Я прожил у Шагала десять дней*. Каждый день мы завтракали, обедали... В общем, проводили много времени вместе. Шагал мне рассказывал о работе над витражами в Израиле. Он остался недоволен ею. Говорил, что тамошняя синагога не соответствовала его замыслу.

Много расспрашивал меня о художниках в Москве. Спрашивал, в частности, о Лентулове. Я говорю: "Лентулов умер".

---

*Из-за этой поездки я не попал к Ларионову с Гончаровой и не забрал их работы

"Вот как! А Вы знаете, Костаки, это был один из замечательных, один из самых больших художников "Бубнового валета". "Да, — говорю, — мы тоже так считаем, что он очень интересный художник". "А как мой друг Фонвизин?" Я говорю: "Ну, Фонвизин еще жив, все рисует своих лошадок. Фонвизин тоже очень интересный акварелист, и здесь его работы, наверное, имели бы большой успех".

Потом он показал мне свои стихи...

Надо сказать, что режим у Шагала был очень строгим. Вава могла прервать его на полуслове и заявить: "Марк, тебе пора отдыхать". И он покорно вставал и шел отдыхать. Никто его не смел в это время беспокоить. Исключений ни для кого не существовало, если бы даже сам премьер-министр позвонил, Шагал не отреагировал бы.

По вечерам он водил меня по маленьким ресторанчикам в Сан-Поль-де Вансе: три-четыре столика и одна парочка сидит где-то в углу. Мы бывали втроем — Вава, Шагал и я. Иногда присоединялся брат художника. Хозяин приносил в корзине свежую рыбу, показывал Шагалу. Шагал выбирал: "Вот это". Рыбу жарили, горел открытый огонь. В общем, я чувствовал себя в каком-то раю.

В один прекрасный день он повез меня в знаменитое кафе. Кажется, оно называется "Золотые голуби" и знаменито тем, что там большое собрание картин знаменитых мастеров: Пикасо, Матисс, Шагал, Кандинский, еще кто-то. В общем, работ, наверное 20-25. Говорили, что была попытка их украсть, но дело обошлось. Шагала там, конечно, принимали с распростертыми объятиями.

Сидим мы за столиком и он спрашивает: "Костакис, а Вы купили тот портрет Беллы?" Я говорю: "Нет, Марк Захарович, потому что Вы ничего точно мне не сказали, и я побоялся покупать". — "Нет, нет, как же, я Вам хотел написать. Это — действительно моя работа. Так что Вы, голубчик, обязательно купите. А на обратной стороне — это мой пейзаж".

А надо сказать, что на портрете Беллы слева в верхнем углу стояла десятка (10) трафаретная. Я спросил его, что это значит? Он объяснил, что в то время было очень трудно с холстами, их было очень мало, и художникам их выдавали под номерами: номер 1, номер 2... "Это был холст номер 10, и я решил

так и оставить"* Эта деталь меня окончательно покорила: "Ну, тогда я куплю!"

Замечательные были дни! Потом я уехал домой... Решил тут же позвонить насчет портрета Беллы. Ищу-ищу телефон и не могу найти. Вдруг через три или четыре дня хозяин сам звонит и говорит, что решил продать своего Шагала и хочет за него не меньше чем восемь тысяч. Я сказал: "Привозите". Привез он холст. Я посмотрел на него две минуты и тут же ему отдал деньги. Он, наверное, был крайне удивлен, потому что обычно, если такие деньги платят, то долго смотрят, торгуются, а я сразу раз... и купил.

Прошло время. В 1959 году Шагал прислал мне письмо, сообщил про выставку в Гамбурге и просил прислать все работы, какие у меня есть. А у меня тогда было уже 13 или 14 Шагалов, в том числе портрет Беллы. Долго пришлось возиться с разрешением на вывоз. Наконец, я разрешение получил, и в Гамбург приехал буквально за три-четыре дня до открытия выставки. Уже шла развеска, когда я разложил привезенные картины. Шагал не приехал, была его дочь Ида и ее муж искусствовед Франц Мейер, автор монографий о нем. Они вместе с директором и с куратором музея посмотрели привезенные мною вещи и заявили, что одну из них — изображение старой женщины — вешать не будут. "Почему? — удивился я. — "Поймите, Костаки, это очень ответственная выставка, — говорит Ида, — решается судьба отца, быть ли ему наверху или нет. Вещи должны быть отборные". Я стал возражать: "Ида, это — ужасная глупость, эта вещь, — примерно 1906 или 1908 года, это ранний Шагал. Она действительно непривычно написана в серо-коричневых тонах. Поверьте, я не еврей, но когда смотрю на эту вещь, мне хочется плакать. Ведь это — Идише-мама. Как же вы можете отвергать такое произведение?"

А что касается двусторонней картины: портрета Беллы и пейзажа, то Франц Майер заявил, что это — не Шагал. Причем сделал он это при директоре и при всех сотрудниках

---

*Зеленый цвет десятки очень хорошо корреспондировался с такого же цвета отделкой платья Беллы.

музея. Я возмутился: "Ну, как же это не Шагал, когда Марк Захарович сам мне сказал, что это — его вещь!" И объяснил как было дело. "Ну, он уже пожилой человек, он что-то мог и напутать", — говорит Франц Майер, правда немножко смутившись. В итоге, ни старуху, ни портрет Беллы не повесили.

Потом выставка поехала в Лувр, потом в другой какой-то город, в общем, побывала в трех-четырех местах. И я получил от Шагала письмо: "Дорогой Костаки, большое спасибо, я, в общем, доволен. Это были очень важные вещи, это моя молодость и т.п. и т.д. А что касается портрета Беллы, я должен еще раз посмотреть и убедиться, действительно ли это моя картина".

Все это время я старался связать Шагала с его сестрой Марьясей, которая жила под фамилией Влашу в Ленинграде. Мне удалось ее разыскать, она рассказала, что несколько раз писала брату, но он не отвечал. И вот приезжает она как-то раз ко мне в Москву. А у меня в углу стоял портрет Беллы. Она увидела его и говорит: "О, это же Белла!" "Да, но ваш братец считает, что это не его картина..." — "Ну, что он глупости говорит. Я очень хорошо помню имя портнихи, которая шила это платье для Беллы, и Белла носила это платье семь лет, потому что тогда Шагалы не были такими богатыми как сейчас".

Тогда я снова написал Шагалу: "Как же так, Вы же сами мне объясняли, что такое номер 10, а теперь и Марьяся тоже подтверждает". Шагал же мне отвечает: "Жизнь прекрасна. Здесь, во Франции как всегда небо лазурное, голубое, и душа разрывается от счастья. Я погружен в работу, работа каждый день с утра до вечера и т.п." А насчет портрета Беллы — ничего!

Проходит еще какое-то время, я опять приехал в Париж, встретил Шагала. Повел он меня в какой-то знаменитый ресторан на острове, где Собор Парижской Богоматери. Под потолком висят колбасы, ветчина. Официанты в фартуках, рукава у них засучены. Накрыли стол, сделали заказ. Тут Шагал попросил: "Принесите-ка мне то, что ест сегодня шеф". Ему принесли большую тарелку вроде супа, в котором плавали луковица, картошка, кусок мяса, какие-то овощи. После того, как все поели, нас угостили коньяком из бутылки без названия — просто номер напечатан на машинке. Ароматный, чудный коньяк.

Выходим мы из ресторана, Шагал взял меня под руку и говорит: "Ах, Костаки, сейчас я стал знаменитый и появилось очень много подделок моих работ. Недавно принесли одного Шагала из Москвы, которого мои эксперты в Лондоне признали за подлинный, а это — чистая фальшивка. И эту вещь привезла из Москвы жена поверенного в делах посольства Ирана". "Да, — говорю, — Интересная история. Я эту картину видел. Эта дама была у меня. Она купила картину на Арбате в комиссионном. И я ей тоже сказал, что это — фальшак, скомпонован из трех Ваших вещей. Посоветовал тут же отнести обратно и получить деньги. Но, видимо, она мне не поверила".

Тогда он обратился к жене: "Вава, Вава, я же тебе говорил, что у Костаки верный глаз... Он знает все мои работы. Это совершенно поразительный человек". Я снова про свое: "Марк Захарович, а как же с портретом Беллы?" "Ну, что сказать, Костаки, — отвечает. — Вы знаете, мы художники — как женщины: иногда говорим — "да", иногда говорим — "нет". Конечно, это — моя работа. Но понимаете, какой конфуз получился... Франц Мейер при всех сказал, что это — не моя работа. Ида, моя дочь, очень боялась, что если я признаю картину своей, это может очень повлиять на его репутацию, и поэтому..." Я говорю: "Марк Захарович, но я то из-за этого страдать не должен". "Нет, голубчик, Вы знаете, как я Вас люблю, все в порядке, Вы пришлите мне фотографию, и я ее подпишу". А сзади идет Вава и говорит: "Ну, вот, видите, Костаки, как хорошо. Я же знаю, что в конце концов Шагал признает, что это его вещь". Ну, слава тебе, Господи...

Приезжаю в Москву и тут же отправляю ему фотографию. И снова получаю уклончивый ответ: "Дорогой Костаки, я все-таки думаю, что было бы очень хорошо, если бы какой-нибудь оказией привезли мне сюда эту картину и я Вам ее здесь подпишу". Потом он мне еще одно письмо написал: "Я подумал, может быть, это — работа моего учителя Бена, потому что Бен мне очень завидовал и очень хотел писать что-то похожее. Возможно, он написал и этот пейзаж и портрет..."

В то время в Москве как раз была Ида. Я ее спросил: "Как же может этот портрет принадлежать Бену, когда никому не разрешалось писать Беллу? Известен же скандал, когда Ро-

берт Делоне начал было писать портрет Беллы, и Шагал хотел его зарезать ножом?" — "Ах, Вы и это знаете?" Я даже обиделся: "Если Вы думаете, что я пригоден только для того, чтобы вбивать гвозди в стены, то тогда грош мне цена в базарный день!" "Да, — говорит она, — конечно, это — мама, это — Белла. Но вот Франц Мейер... Мы думаем, что все-таки это не папа писал".

Я Шагалу много раз повторял: "Марк Захарович, Вам нужно приехать в Москву, Вас очень ждут и Вас очень любят". А он мне в ответ: "Это небезопасно, потому что я уехал... в общем, я удрал, я как бы невозвращенец. И, несмотря на то, что у меня французское гражданство, могут быть неприятности".

В общем, он боялся. В конце концов в 73 году его пригласили, и он приехал. Встретили его как патриарха. Забросали цветами. В Третьяковскую галерею, когда он пришел, невозможно было пробиться. Шагал привез с собой литографии и подарил музею. Экспонировали также некоторые его работы, из коллекции Третьяковки. Но выставка все-таки получилась куцая, недостойная Шагала.

Тем не менее Шагал был счастлив. "Костаки, я обязательно должен быть у Вас!" — "Марк Захарович, конечно". А ведь он почти ни у кого не был, хотя приглашали его многие знаменитости. Он даже у сестры своей не побывал. Словом, получаем мы приглашение от французского посла на обед. Жена посла, посол, его дочь или сын, не помню, Вава, Шагал. Зина и я. Помню, нас угощали водкой, блинами с икрой, на второе что-то очень вкусное, в общем, шикарный обед.

После обеда приехал Шагал ко мне. Стал ходить по комнатам. У каждой стены останавливался и каждую картину гладил: "Ах, вот она... Ведь я ее помню, мы дружили с художником. Малевич — прекрасный художник, прекрасный художник. Мы с ним немножко спорили... Костаки, Вы сделали великое дело. То, что Вы собрали и то, что я вижу сейчас это... это потрясающе! Вы должны быть награждены за этот труд".

Подошел к стене, где висели его картины. Все знакомые, родные ему вещи. "Вот, — говорит, — ах, вот это и это... А я готов бы был купить все эти работы, если не дорого". — "Марк Захарович, я не продаю". А сам с трепетом душевным пошел

в соседнюю комнату, несу портрет Беллы, этого Шагала — не Шагала. "Марк Захарович, Вы обещали подписать. Вы три раза сказали, что это Ваша вещь". Положил перед ним и жду. А он посмотрел и обращается к Ваве: "Вава, как ты думаешь, это я?" Вава отвечает: "Я очень сомневаюсь, Марк". Развел Шагал руками и... не подписал.

Тут Зина принесла сендвичи с икрой, стали фотографироваться. Я пригласил Володю Янкилевского и Отари Кандаурова — хотел, чтобы Марк Захарович познакомился с молодежью. Взял он мой альбом, что-то написал, нарисовал каких-то петухов. Молодым говорит: "Почему вы не приезжаете в Париж?" Володя Янкилевский отвечает: "Знаете, Марк Захарович, это очень сложно. Мы можем поехать, но если только навсегда". — "А вот этого не делайте!" Жизнь художников Парижа — очень тяжелая и очень сложная. Я долгое время перебивался... Путь тернистый. О, нет... А чем вы здесь занимаетесь?" Володя говорит: "Пишу картины, графикой занимаюсь. Чтобы заработать деньги, делаю иллюстрации в книгах". — А во Франции иллюстрации никому не нужны. Там тот, кто делает иллюстрации, прочно сидит на этом месте. И вы должны ждать, когда он его освободит. А он все не умирает. Вы скорее умрете!" В общем, он их всячески убеждал, что "ехать за границу не стоит".

Потом Шагал уехал.

А вот "Шагал — не Шагал" остался у меня так и неопознанный. Думаю, надо дать его эксперту, чтобы доказать, что это — все-таки Шагал. Неужели это так трудно! Взять хотя бы такую деталь. Еврейка-старуха изображена в кофте с цветами. Точно такой же рисунок есть на одной из гуашей Шагала.

Произошел у Шагала казус и с сестрой Марьясей. Ей очень хотелось съездить во Францию, посетить брата. Она меня просила это устроить и, будучи в Париже, я сказал: "Марк Захарович, Марьяся очень просит, чтобы Вы ее пригласили на месяц. Если не ее, то хотя бы ее дочь". На что он ответил: "Я много об этом думал и считаю, что этого делать не стоит. И знаете почему? Я человек пожилой, а как Вы знаете, у пожилых людей здоровье не очень хорошее. Моя сестра Марьяся — тоже не молода. Мы не видели друг друга более шестидесяти лет... Встретимся и оба начнем плакать. Мы будем плакать и

страдать. Это очень плохо для ее здоровья и для моего. Я же не могу ее взять к себе на постоянное жительство, она приедет на один месяц из трудных коммунальных условий Ленинграда. А здесь она увидит, что ее брат занимает дом в десять или двенадцать комнат, уютный, теплый, с садом, с прислугой. Она поживет тут месяц, а потом ей будет очень тяжело вернуться в Ленинград. Так что я думаю не стоит..." В общем, отказался...

К тому же еще он был на сестру немножко в сердцах. У Марьяси оставались некоторые вещи Шагала. И Шагал об этом знал. Он у нее оставил, например, платье, им для нее расписанное, несколько гуашей. Когда Ида приехала за этими вещами в Ленинград и спросила Марьясю, где все это, та ответила: "Да, были какие-то пустячки. А платье уже истрепалось. В общем, я все это выбросила". Услышав такое, Шагал простить не мог...

Однажды он мне подарил какую-то книгу и сделал красивый рисунок. Я его попросил, чтобы он и для Марьяси тоже такой рисунок сделал. Но он на ее экземпляре просто написал: "Марьясе от брата. Марк". Я говорю: "Ну, хотя бы какую-нибудь розочку". — "Нет, — говорит, — она в этом не разбирается, она это не понимает и не любит"...

СИТУАЦИИ И ЛИЧНОСТИ

Когда я, покончив со своей старой коллекцией, перешел к коллекционированию авангарда, то вскоре почувствовал: наряду с авангардом нужно собирать и русскую икону. Потому что между этими двумя, на первый взгляд такими разными искусствами существует тесная взаимосвязь.

Близко соприкоснувшись с русской иконой, я начал открывать в ней элементы супрематизма, абстрактной живописи, всякого рода символы. Я помню, в Третьяковской галерее в реставрационных мастерских долго всматривался в иконы XIV века с изображением святых. Их одеяния были написаны в лучистской манере, подобной ларионовским работам. Можно было прямо выпилить эти места и повесить их как произ-

ведения Михаила Ларионова! Высокого класса русские иконы XV-XVI веков написаны обычно локальными яркими цветами, очень близкими именно к тем, которые характерны для картин авангардистов.

Мне удалось собрать большую коллекцию икон: у меня хранились примерно полторы сотни досок, писаных с XV по XVII век.

Уже позже, в 50-е годы, одновременно с авангардом и русской иконой я увлекся творчеством молодых русских художников. В 50-е годы была сравнительно небольшая группа — 10-12 человек — людей очень талантливых: Рабин, Краснопевцев, Плавинский, Вейсберг и многие другие. На протяжении ряда лет каждый год я покупал по одной, по две вещи у каждого из этих художников. Многие мне дарили свои работы. Так составилась коллекция.

У нас сложились очень добрые и близкие отношения. Ребята часто приходили ко мне, смотрели картины, показывали свои работы. И я часто навещал их мастерские. Так продолжалось примерно до 60-го года: я выступал, можно сказать, в роли отца-покровителя, что ли. Ведь никто этой молодежью тогда не интересовался.

Потом на горизонте появилась некая мадам Стивенс*, дама весьма шустрая, не знаю чем занимавшаяся до того. Приехав в Москву из Нью-Йорка, она очень заинтересовалась молодыми советскими художниками. Ей еще в Нью-Йорке дали какие-то списки, имена, и она стала посещать мастерские, покупать работы. Причем, говорят, делала она это не совсем тактично. Например, говорила художнику: "Вы это не продавайте Костаки, это не для него, это только для меня, потому что я — американка, и у меня большие связи в Нью-Йорке, все директора музеев и т.д. Я буду способствовать вашей популярности, буду устраивать ваши выставки". В общем, мадам Стивенс вторгалась в мою жизнь. И я, надо сказать, остыл, руки у меня опустились...

К тому же, должен сказать, группа талантливой молодежи разрослась — появилось уже имен двадцать! Каждый считал себя лучшим, и когда я отвергал одного, другому говорил, что

---

*Нина Андреевна, вдова известного американского журналиста Эдмонда Стивенса.

надо немножко подождать, они обижались, сердились. Короче говоря, я стал себя чувствовать несколько неуютно. Да и, по правде сказать, вести три линии — авангард, икону, и молодых художников — финансово было трудновато. Тем не менее, я не порывал окончательно с теми, кто стали мне особенно близки — Анатолием Зверевым, Дмитрием Плавинским и, прежде всего, Дмитрием Краснопевцевым. Иногда я у них что-то покупал и они у меня бывали.

Часто мы с женой навещали Бориса Свешникова — замечательного человека! Он жил в наше время, но был скорее персонажем XVIII-го века по чистоте своей души. В молодости, бедняга, сидел, как и многие другие, ни за что.

Каждый день я бывал или на какой-нибудь выставке, или у друзей. Постоянно что-то происходило — жизнь коллекционера изобиловала впечатлениями.

Жил в Москве очень известный и почитаемый художник Павел Кузнецов. Он не имел прямого отношения к авангарду, но резко выделялся среди современников. После его смерти осталось много работ. А нужно сказать, в то время приобрести его работы было не так-то легко. Сам он не очень охотно продавал, а те, кто держал его работы в частных собраниях, не хотели с ними расставаться. И вот он умер, и семья решила, что эти вещи надо устроить в музей — в Третьяковскую галерею или в Русский музей. Меня пригласили в мастерскую покойного на комиссию. Из Третьяковской галереи пришли пятеро, из Ленинграда приехал Пушкарев, директор Русского музея.

Начали мы разбирать коллекцию. Поскольку из Третьяковской галереи приехало больше народа, они отобрали себе лучшие самые большие вещи, а Пушкарев сидел с краешку и помалкивал. Все были удивлены, что он себя так скромно ведет и не проявляет особой агрессивности, что случалось с ним раньше. Распределили мы — столько-то работ Третьяковской галерее, столько-то Русскому музею, сделали оценку и разошлись.

Прошло, наверное, с полчаса, и Пушкарев вдруг вернулся к Кузнецовым и сказал: "Знаете, я не смог найти гостиницу, все гостиницы в Москве переполнены, а на вокзале мне ночевать на хочется. Может быть, Вы разрешите мне переночевать здесь, в мастерской?" Ему, конечно, разрешили, но предупре-

дили, что его там зажрут клопы. Пушкарев ответил, что клопы его не волнуют, у него их полно и в ленинградской квартире и он к ним привык. Дали Пушкареву ключ, он устроился на диване. Договорились, что утром, когда будет уходить, он оставит ключ под половиком у двери.

Настало утро. Комиссия из Третьяковки приехала на машине забирать предназначенные галерее картины. Открыли дверь мастерской... О ужас! Мастерская ограблена! Картин нет... Только несколько полотен стоят по углам, а остальные куда-то исчезли. Начали звонить в милицию. Пока искали телефон милиции, на столе обнаружили записку Пушкарева: "На волнуйтесь, картины я забрал и увез в Ленинград. Я считаю, что дележка была очень несправедливой, Третьяковская галерея хотела забрать себе 90 процентов. Это неправильно. Русский музей имеет больше прав на работы Павла Кузнецова и т.д. и т.п." Мало того! Он еще успел сделать переоценку, и вещи, которые комиссия оценила, скажем в тысячу рублей, он оценил в 300 или в 500.

Разразился скандал. Третьяковская галерея пожаловалась Министерству культуры. Министром культуры тогда была Фурцева. Но и она ничего не смогла поделать. Работы Павла Кузнецова так и остались в Русском музее.

Надо сказать, что Фурцева покровительствовала Пушкареву, видя в нем неординарную личность, этакого русского типа мужика-купца, который себе на уме и знает, что ему нужно, что он должен делать. Как ни странно, он очень положительно отнесся к авангардному искусству и тайком покупал эти вещи у разных старых людей в Ленинграде. Причем, тратил деньги, которые ему были отпущены на официальное искусство — на разных Герасимовых и иже с ним. Кураторы и сотрудники Русского музея с большой симпатией к этому относились и Пушкарева покрывали. Получался какой-то тайный музей, который в конце концов попал в немилость — после того, как Фурцева умерла, и пришел новый министр культуры: Пушкарева сместили, поставили нового директора. Но пока Пушкарев директорствовал, он сделал очень много полезного.

Однажды Пушкарев приехал в Москву и зашел ко мне с Владимиром Ивановичем Костиным, известным московским

историком и критиком-искусствоведом. Во время нашей беседы Пушкарев мне сказал: "Если когда-нибудь решишь передавать свою коллекцию, то ни в коем случае не в Третьяковскую галерею, а только нам. Третьяковская галерея — это плохой музей, а у нас картинам будет хорошо, я выделю специальное крыло..." Владимир Иванович Костин заметил: "Ты Георгию Дионисовичу покажи свои запасники, подвалы". На что Пушкарев категорически ответил: "Нет". Дело в том, что тогда было запрещено посещать запасники музеев. "Без разрешения Фурцевой не могу, — сказал он, — Я угощу Костаки, будем пить водку, покажу место, где разместится коллекция. А что касается запасников — не могу..."

Однажды ко мне пришел гость из США — профессор университета одного маленького американского городка. Имя его я, к сожалению, забыл. Он осмотрел мою коллекцию, мы долго беседовали, словом, прекрасно провели время. "Костаки, — сказал он мне напоследок, — а не могли бы вы прочесть лекцию в нашем университете? Я это организую. Сначала у нас, потом в других университетах."

Я легко согласился, не поверив, что это на самом деле можно организовать и притом быстро. Однако после отъезда профессора не прошло и трех недель, как пришло письмо с полной программой моей предстоящей поездки, моих лекций. На обратном пути мне предлагалось заехать в Лондон, где в галерее Фишера должна была состояться выставка картин из моей коллекции. С немалыми трудностями я получил от министерства культуры разрешение на вывоз картин для выставки и вылетел в США.

Самолет приземлился в нью-йоркском аэропорту "Кеннеди". Была полночь и я ужасно устал. Взял чемодан и две коробки с картинами и слайдами, сел в такси и поехал в гостиницу "Хилтон". Получил заказанный заранее номер с такой огромной кроватью, что, думаю, на ней могли бы разместиться пять человек. Сел я на диван, заказал чашку чая, чтобы немножко расслабиться. Мой взгляд рассеянно скользил по комнате. И вдруг, о ужас! — я заметил, что чемодан, стоящий в центре комнаты, намного отличается от моего собственного, с которым я вылетел из Москвы. Сердце мое сильно забилось, я открыл чемодан и обнаружил в нем женское белье

и туфли. В моем чемодане лежали все материалы для предстоящей лекции, все самое нужное!

Стремглав я бросился вниз к портье за помощью. "На какой аэровокзал Вы прибыли?" — спросили меня. "Кеннеди", "Кеннеди", — твердил я. "Хорошо, — ответили мне, — но "Кеннеди" — огромный аэропорт, состоящий из нескольких аэровокзалов. На какой именно из них Вы прибыли?" Я был вынужден признаться, что не знаю. Пришлось нанять такси и отправиться в аэропорт.

Приехал. Аэропорт пуст, только кое-где мелькают фигуры темнокожих уборщиков. Водитель-китаец вызвался мне помочь. Минут через сорок появился служащий, который подтвердил, что я обязательно должен назвать компанию и место стоянки. Я объяснил, что прибыл из Москвы рейсом "Аэрофлота". Наконец установили, что речь идет о стоянке компании "Пан-Америкэн".

Мы отправились с ним в ту часть аэропорта, которая принадлежала этой компании. Там тоже было пусто. Наконец, добрались до большого зала, где стояли сотни тележек. Моего чемодана нигде не было... От волнения я выкурил три пачки сигарет. Мне сказали: "Сидите здесь!" Я ждал... и, наконец, увидел тележку, на которой везли мой чемодан. "Слава Богу!" — воскликнул я.

Мне объяснили, что не явись я этой же ночью, мой чемодан улетел бы неизвестно куда. На радостях я дал хорошие чаевые таксисту и выписал чек на сто долларов человеку, который нашел мой чемодан. Когда я вернулся в отель, солнце уже взошло, я был счастлив.

На следующий день я обнаружил, что номер мне не по карману.

Городок, где находился университет, скорее походил на деревню. Он располагался в чудесном месте неподалеку от канадской границы.

На мою лекцию пришло очень много народа. Мой друг, пригласивший меня, предупредил: "Лекция должна длиться 45 минут, в крайнем случае — час. В Америке на любят длинных лекций!" Я возразил, что этого недостаточно, потому что надо показать слайды, репродукции картин, да кроме того еще и рассказать об авангарде.

"Давайте сделаем так, — предложил я, — я буду говорить, сколько потребуется. Если публика начнет покидать зал, я готов выступать перед теми, кто останется, пусть их всего будет два-три человека. Лишь бы им было это интересно".

Никто не ушел, хотя я говорил часа полтора! Я был крайне удивлен, когда после лекции мне вручили конверт с полутора тысячами долларов. Выступал я еще в нескольких университетах и музеях. И везде получал гонорар: где тысячу долларов, где поменьше. В одном из музеев мне вручили 600 долларов и при этом долго извинялись, что вынуждены заплатить так мало — у музея недостаточно средств.

Однажды я со всем своим багажом перебирался из одного города в другой на поезде. Скорость внезапно упала и состав стал ползти как черепаха. По радио объявили, что паровоз неисправен и мы возвращаемся на станцию, откуда отправились в путь. Когда мы туда прибыли, на соседнем пути уже стоял другой состав, в который нам пришлось пересесть. Все бросились пересаживаться, а я очутился в затруднительном положении — у меня был громадный багаж: две коробки, да еще чемодан впридачу. Я никак не мог все сразу унести с собой, оставлять тоже было нельзя, ведь в багаже были картины. Конечно, я поступил, как глупец, что взял их с собой, не застраховав! К счастью, мне помог ехавший в том же вагоне священник. Он захватил одну из коробок, и мы едва успели сесть в уже тронувшийся состав. При этом получилось так, что я ехал в одном вагоне с чемоданом и коробкой, а священник с моей коробкой в другом. Так, в разных вагонах, мы прибыли в Гарвардский университет. Вернее, в тот город, рядом с которым он находится. Кажется, это был Бостон.

Я вышел на перрон с коробкой и чемоданом и стал озираться по сторонам, ожидая священника. Неожиданно я увидел его вдалеке в толпе, спешащих к выходу пассажиров. Но он был без коробки! Священник быстро удалялся и я был вынужден броситься за ним вдогонку.

— Святой отец, — закричал я, — а где же моя коробка?

— Я оставил ее в вагоне, — невозмутимо ответил тот.

— Но что же делать? Ведь я же не знаю, в каком купе Вы ехали! Помогите мне, пожалуйста, — стал я его упрашивать.

Мы вернулись назад к составу и нашли, наконец, злополучную коробку. Я вынужден был добраться до выхода, переставляя по перрону свой багаж: сначала на десяток метров коробку и чемодан, потом оставшуюся коробку и т.д. Наконец, появился носильщик и я смог сесть в такси и отправиться в Гарвард.

Из всех университетов и музеев, которые я посетил в США, в Гарварде было хуже всего. Я нашел его очень снобистским. Настолько снобистским, что трудно себе представить! Выделили мне комнату и приставили человека, который говорил по-русски. Наверное поляка по происхождению. Он сообщил мне время начала лекции и пригласил вечером на ужин. Однако, позднее позвонил и сказал, что приглашение отменяется, так как его жена чувствует себя не очень хорошо. Может мы лучше поедем в ресторан? Я отказался, сославшись на то, что мой желудок не позволяет мне питаться в ресторане и, я предпочитаю ограничиться вечерним чаем.

На следующий день на лекцию пришли всего семь человек. Несколько студентов и студенток. Ни один преподаватель не пришел. Не пришел и сопровождавший меня поляк. Вскоре я уехал из Гарварда.

Затем я прочитал лекцию в музее Гугенхейма. Здесь все прошло чудесно. Слушателей было много. В конце концов мне задали вопрос: "Какая судьба ждет мою коллекцию?" Я ответил, что планирую передать ее в один из русских музеев, например, в Третьяковскую галерею и попросить, чтобы одну из моих дочерей назначили ее куратором. Кроме того, будучи человеком небогатым, я намерен попросить Министерство культуры разрешить мне продать несколько картин — небольшую часть коллекции — в Лондоне с тем, чтобы на вырученные деньги могла жить моя семья.

И вдруг на следующий день в газете "Нью-Йорк таймс" появилась ужасная статья. Автор утверждал, будто Костаки намерен уничтожить свою коллекцию, распродав ее за границей. Я возмутился — ведь ничего подобного я не говорил! Кроме того, там говорилось, будто Костаки, уверяющий всех, что он греческий гражданин, но на самом деле никто не знает, какой он национальности и т.п.

Рассердившись, я пытался протестовать: написал письмо в редакцию — американцы упрекают Советский Союз в клевете, но и сами поступают также!.. Никакого опровержения "Нью-Йорк таймс", конечно, не напечатал.

Американские друзья предприняли попытку договориться о публикации книги, посвященной моей коллекции. Предполагалось, что это может сделать издательство "Абрамс", занимающееся такого рода изданиями. Но из этого ничего не вышло. Хозяин издательства Костакисом не заинтересовался.

Из Америки со своим чемоданом и коробками я отправился в Канаду, в Оттаву. В гостинице мне дали большую и удобную комнату, но не успел я распаковать багаж, как в дверь постучали... Вошедшие — двое в штатском, невразумительно пробормотали что-то вроде: "Мы из тайной полиции..."

Поначалу я подумал: "Вот так здорово канадцы заботятся обо мне! Специально пришли для того, чтобы поместить мои картины в надежное место". (Так иногда поступали в США — перевозили картины с охраной из одного университета в другой). Однако, оказалось, что тут совсем другое дело: меня попросили проследовать в другую комнату в той же гостинице.

Там стояли несколько магнитофонов с бобинами. Один из агентов сказал: "Мы должны задать вам несколько вопросов". "Каких вопросов? — дивился я. "Садитесь, а мы вас будем спрашивать". Меня начали расспрашивать, что делает такой-то шофер в канадском посольстве в Москве, а что делает его коллега, чем занимается служанка того-то и т.п. "Минуточку, — прервал я эту "беседу" — я не намерен давать вам никаких отчетов. Я работаю в канадском посольстве, но знать не знаю, кто там работает на КГБ, кто шпион, а кто — нет! Может, так оно и есть, а может быть, и нет. Думаю, что безопасность посольства обеспечена на сто процентов. Русский персонал держится в одной стороне, а канадский — в другой. И я ни разу не слышал, чтобы русские и канадские сотрудники говорили между собой о политике. Говорят лишь о повседневных, бытовых вещах".

На это люди в штатском заявили мне: "Костаки, у нас есть факты, свидетельствующие о том, что Вы работаете на КГБ". Я, естественно, возмутился.

Спустя два дня после этого неприятного инцидента я вернулся в Москву. Тут же мне позвонил секретарь канадского посла Форда и сказал, что посол приглашает нас с женой завтра на ланч. На ланче господин Форд принялся расспрашивать меня о поездке. Я отвечал, что все было прекрасно, жаль только, что лекции не всегда были удачно организованы... Ни словом о встрече в гостинице с людьми в штатском я не обмолвился.

"А не было ли у Вас каких-нибудь других трудностей, господин Костаки, — допытывался посол, — никто Вас там не беспокоил?" "Нет", — ответил я.

Лишь позднее я признался ему, что меня допрашивали люди из "канадского КГБ". "Не беспокойтесь, — сказал мне посол, — "канадское КГБ" — там, а мистер Форд — здесь. Спите спокойно".

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

Коллекция моя продолжала расти. Публикация о ней появилась в одном немецком журнале — его московский корреспондент Торгсен написал большую статью.

Это была первая ласточка. Я ведь долго отказывался от интервью — говорил журналистам, что "надо подождать". Считал излишним афишировать свое увлечение. Торгсен же как-то сумел ко мне проникнуть. К сожалению, он был далек от искусства и многое в своей статье напутал. Написал, например, что войдя в мою квартиру, тут же где-то вверху увидел висящую конструкцию Татлина. На самом деле это был "Мобиль" Родченко. И дальше — ошибка за ошибкой.

Тем не менее эта первая публикация в западном журнале свою роль сыграла, в Европе, да и за океаном узнали, что существует в Москве коллекционер по имени Костаки.

Вторая большая статья появилась в английском журнале "Санди Таймс", который прислал ко мне своего корреспондента. Он пробыл у меня два или три дня, сделал много снимков. Для иллюстрации статьи требовалось, наверное, 20 или 30, а

4. Зак. 1979

он сфотографировал чуть ли не все, что видел. Статья в "Санди Таймс" получилась удачной.

Но самый большой вклад в популяризацию моего собрания помогли сделать супруги Пизар, Джудит и Сэм. Эта супружеская пара принадлежала к европейской элите, он — крупный адвокат, она работала во французском культурном центре. Среди их друзей были министры Франции, президент Жискар Д'Эстен. Джудит отнеслась ко мне с большой симпатией и старалась всячески помочь. Она организовала визит ко мне Эдварда Кеннеди, позже Синди Шрайвера, привезла в мой дом Дэвида Рокфеллера, американских конгрессменов и сенаторов. Джудит пыталась помочь и в создании книги о моей коллекции, но, к сожалению, — не получилось. Издательство, которое хотело выпустить книгу с ее помощью, отнеслось к этому не очень серьезно: предлагало включить в книгу всего 30-40 репродукций. Узнав об этом, я отказался.

Осуществление наших с Джудит планов омрачил и один неприятный эпизод. Слайды — репродукции с картин я заказал очень хорошему московскому фотографу С.Зимноху, который много работал для Эрмитажа, делал слайды с икон для многих книг и альбомов. Съемка слайдов заняла чуть ли не месяц и стоила немалых денег. Я приготовил 250-300 слайдов, которые Джудит должна была увезти в Америку. Перед отъездом в Париж она взяла их у меня. Господин Пизар обычно пользовался в аэропорту дипломатическими правами. В тот раз жена приехала в аэропорт первая, а сам Пизар почему-то запоздал. Джудит не стала его дожидаться, чтобы пройти через дипломатический пропускной пункт. Пошла одна через общую таможню. Ее остановили и предложили открыть чемодан. Она открыла и... все слайды и эссе искусствоведа Ракитина забрали.

Джудит Пизар сообщила мне о случившемся уже в Париже. При этом просила не беспокоиться — надеялась, что друзья в Москве помогут выручить отобранное. Увы, ничего не вернули... Свои слайды я получил много времени спустя, когда уже по указанию Андропова мне разрешили выезд на родину в Грецию.

...В один прекрасный день раздался телефонный звонок из посольства США, меня спрашивали, могу ли я принять сена-

тора Эдварда Кеннеди, который хочет посмотреть мою коллекцию. Конечно, я ответил: "С большой радостью". Мне сообщили, что Кеннеди приедет через несколько дней, он хотел бы встретиться с представителями русской интеллигенции, не могли бы Вы устроить у себя такой вечер-прием? Я сказал, что постараюсь это сделать.

Кеннеди хотел бы встретиться с Андреем Вознесенским, Майей Плисецкой и еще многими известными людьми. Получился список из нескольких десятков фамилий. Что делать? Принять такую компанию у себя как личных своих гостей, было невозможно. Обратиться в Министерство иностранных дел или Министерство культуры за официальным разрешением на встречу — провалить все дело: будет разбираться не меньше полумесяца. Кеннеди успеет тем временем приехать и уехать! Я решил действовать самостоятельно. Начал звонить, приглашать. Меня спрашивают: "А этот вопрос согласован или нет?". Я говорю: "Да, да согласован, все в порядке, приезжайте, пожалуйста".

К тому времени я уже привык к тому, что мое собрание посещали очень известные люди, освоился и не робел. Но предстоящий визит сенатора Кеннеди меня немного смущал. Я начал ходить по квартире, смотреть, нет ли какого непорядка: где нужно что-то вымыть, почистить. Заметил, что в коридоре плохой ковер, поехал в магазин и купил новый. И тут же сам себя поймал на мысли — "какая глупость"!

В Москву Кеннеди приехал без жены — она осталась с заболевшим сыном. Кеннеди был с секретарем, но сразу же почувствовалась его простая манера держаться. Я, конечно, постарался и устроил шикарный прием. Позже от нескольких людей я слышал, что Кеннеди говорил, будто из всех приемов, на которых он бывал в Америке и других странах, самый лучший был у Костакиса в Москве. И в самом деле на столе стояли: справа банка икры на два килограмма, слева тоже банка икры на два килограмма, осетрина, севрюга, окорок с ананасами, всевозможные салаты — то есть стол ломился от яств. И все это в окружении икон, свечей, картин, то есть, выглядело как прием в маленьком, но очень хорошем музее. Атмосфера за столом возникла очень теплая. Кеннеди провел у нас, наверное часа три с половиной, если не все четыре, со

всеми разговаривал. Пришли очень многие из приглашенных. Плисецкой, правда, не было, она не смогла, но был ее брат Азарий. Потом начали делать фотографии: с Кеннеди был "придворный" фотограф. Позже высокий гость прислал мне фотографию с надписью: "Жоржу на память". На ней он изображен в кругу моей семьи. Правда, с обратной стороны фотографии есть надпись, гласящая, что без особого разрешения публиковать ее запрещено.

Эдварду Кеннеди очень понравилась моя коллекция. Он, видимо, остался очень доволен и приемом. У нас завязалась переписка, он приглашал меня в Вашингтон с тем, чтобы остановиться у него. Но я не воспользовался его приглашением.

Случаются в жизни коллекционера и тяжкие разочарования. Бывало, например, с большим трудом добудешь тот или иной адрес, но по какой-то причине не сможешь сразу по нему поехать, опоздаешь всего на день и... в чужие руки уйдет уникальная вещь.

Тек случилось у меня с большим холстом Шагала "Муза поэта". Его продавала одна женщина, мне дали ее адрес, по которому следовало немедленно отправиться. То ли я поленился, то ли что-то помешало, не помню уже, но я опоздал: картину купил коллекционер Гордеев. Причем купил за гроши, разыграв целый спектакль. Придя к хозяйке, он устремил свой взгляд на малозначительную вещь в ее коллекции, и просил продать ему именно эту вещь.А уж если она согласится, то он тогда, так и быть, заодно возьмет и "Музу поэта". То есть сумел создать у хозяйки впечатление, что заветный холст ничего не стоит. И ему это удалось...

Однажды я получил сведения из очень солидного источника, что де-мол в Москве живет нянька Кандинского. Собственно, нянькой эта женщина работала в семье Кандинского очень недолго, потому что сынишка их вскоре умер. Но когда Василий Васильевич уезжал, то каким-то образом у этой женщины остались его две большого размера абстрактные вещи. Точного адреса у меня не было, ведь годы прошли — люди переехали. Наконец, я нашел их в Черемушках, в новом районе, куда они переселились с Арбата. Приехал, позвонил, мне сразу открыли дверь. Простые люди, сидели, пили чай, пригласили меня, и я сел с ними, осмотрелся вокруг... Кандинским и не

пахло. Я начал осторожно расспрашивать (я всегда опасался, что от жестокого разочарования меня вдруг хватит инфаркт!) "Мне сказали, — начал я нерешительно, — что у вас есть..." — "Да, — говорит, — были две вещи, но это не картины. Это Василий Васильевич, наверное, когда рисовал, то пробовал краски. На одном холсте что-то намалевано, и на втором то же самое. А потом один холст порвался, в нем вот такая дыра появилась. Валялись они валялись, то тут, то там, а когда мы с Арбата переезжали, то решили их выбросить".

Что с них взять — люди простые... Но мне рассказывали, что в Рязанском музее работу Кандинского выбросили с благословения директора и кураторов: она пришла в ветхость, требовала реставрации, а реставрация стоила бы так дорого, что не оправдала бы, как они считали, стоимости самой вещи. Такие же совершенно невероятные ситуации возникали еще совсем недавно. В Ленинграде, например, за несколько лет до моего отъезда, у одного человека Эрмитаж купил большого размера Кандинского, заплатив ему всего 4000 рублей.

В середине 60-х годов в Москве была организована выставка современного искусства. Экспонировали часть работ "Бубнового валета" Фалька. Меня просили дать двух-трех Кандинских, Попову, Малевича "Портрет Матюшина" и еще что-то. В общем я представил работ 10-15. Выставку организовали в старом помещении МОСХа на Патриарших прудах. Проходила она два или три дня и пользовалась большим успехом. Пришло много народу. И пришли, конечно, власти посмотреть. Все мои вещи как бы в одном таком отсеке и очень эффектно смотрелись. На другой день мне позвонили из отдела ИЗО Министерства культуры и спросили, не хотел бы я продать Пушкинскому музею картину Кандинского и Ван-Донгена "Портрет испанки". В свое время музей хотел их купить, но пожадничал, предложил хозяину слишком мало, и вещи тогда достались мне. Теперь же мне предложили по восемь тысяч рублей за картину. "Начнем с того, — сказал я, — что я сам заплатил за Ван-Донгена больше, чем восемь тысяч. Что же касается Кандинского, если бы завтра мне кто-нибудь предложил его работу за восемь тысяч, я бы последние штаны продал! Так что и разговора быть не может. Но можно сделать иначе. Я с большим удовольствием подарю Третьяковской

галерее Кандинского, а Пушкинскому музею — Ван-Донгена с тем только условием, чтобы эти вещи сразу были включены в экспозицию, и написано, что это — дар Георгия Дионисовича Костаки". — "О, замечательно!" — воскликнули работники министерства.

Однако через некоторое время мне сообщили, что Кандинского Третьяковка, к сожалению, в экспозицию поставить не может, и он будет пока храниться в запаснике. "Нет, — сказал я. — Мои картины привыкли к свету, это — мои дети, и в вашу тюрьму я Кандинского не отдам". И отказал им.

Таким образом, я подарил Ван-Донгена Пушкинскому музею, а Кандинского Третьяковская галерея не получила. Но, в общем, все равно меня за это очень благодарили в Министерстве культуры.

Вообще-то тогда было время очень какое-то, не понятное, и разрешалось свободно вывозить вещи. Хоть Кандинского вывози, хоть Попову, только пошлину заплати. Я помню, как-то отправлял на выставку работу Пуни. Привез ее в Министерство культуры, чтобы получить разрешение на вывоз. Меня спросили: "Вы совсем вывозите или временно? Если совсем, то должны заплатить пошлину. Сколько картина стоит?" Я говорю: "Заплатил за нее 150 рублей". "Пошлина 100%, значит..."

Получить разрешение на вывоз картин русского авангарда было совсем не трудно. Если что-то не выпускали, то только потому, что, де-мол, это искусство запрещено, то есть по политическим мотивам, а не из-за того, что эти вещи считались какой-то ценностью.

Отношение к искусству в стране было колеблющимся. То наступали дни оттепели, когда казалось, не так опасно заниматься коллекционированием авангардного искусства и контактировать с молодыми художниками. А потом опять надвигались тучи, появлялись грозные статьи в газетах.

В один прекрасный день в Москве появился американец по фамилии Маршак и пришел ко мне. Представился племянником поэта Самуила Маршака. Сказал, что приехал познакомиться с молодыми художниками и русским авангардом, просил дать слайды работ Зверева и просил меня в этом помочь. Я к нему как-то сразу отнесся осторожно, попросил зайти через несколько дней.

Через неделю Маршак явился и стал рассказывать, что был в Третьяковской галерее и в Ленинграде, посетил таких-то и таких-то художников. Открыл портфель и показал мне кучу фотографий, сделанных явно недавно. Значит, в одном из музеев, то ли — в Третьяковской галерее, то ли в Русском музее — ему разрешили фотографировать запасники? А надо сказать, что запасники в советских музеях ужасные: там в углу Кандинский стоит сикось-накось, а где-то Шагал, а вот там — Малевич и т.п. В общем сплошной кавардак. Но Маршак остался доволен: "Вот, смотрите, мне все дали сфотографировать".

Это происходило как раз в период оттепели, когда к американцам относились дружелюбно. Тем не менее я предупредил, что с таким материалом нужно обращаться очень осторожно: "Все, что у Вас есть, все, что Вам разрешили сфотографировать: и интервью с художниками, в том числе с Дмитрием Краснопевцевым и Юрием Васильевым, — я бы советовал Вам поместить в журнал, далекий от политики. Лучше всего в журнал по искусству. Напишите сначала вообще о России, о Советском Союзе. Начните, скажем, с балета, с оперы, с русской иконы, потом об искусстве XVIII-XIX века, "передвижниках", а уж потом переходите к современному искусству — Герасимову, Налбандяну. И в это место уже позже замешайте и молодых, и авангард. Тогда все будут довольны, и никто не будет выступать с какими-то притензиями". Идея ему понравилась.

Проходит две или три недели и, мне присылают журнал "Лайф". Я раскрываю журнал, и что же я вижу? на первой странице во весь лист свободно и без всяких условностей написанный портрет Зверева, а с другой стороны — Ленин кисти Серова. Для советского глаза в те времена было равносильно тому, что, скажем, поместить справа Богоматерь, а слева — голую проститутку. Смотрю дальше: идут фотографии из запасников, изображен весь этот кавардак, а сверху надпись: "Искусство, которое хранится подспудно и никому не показывается". Ну, в общем, скандал. Большой скандал, такой, что вы и представить не можете!

В общем, этот Маршак сделал ужасное дело. У Юры Васильева получился инфаркт, его ругали за то, что он давал Маршаку интервью. У Димы Краснопевцева тоже были неприятности, причем что-то в его интервью исказили. На все

запасники в музеях повесили огромные замки. Некоторых же директоров, которые сидели на своих местах по тридцать лет, уволили. После этого годами в запасники попасть можно было только с разрешения министра культуры. Вот что наделал Маршак!

Но прошло какое-то время, чуть ли не месяц, я получил журнал, по-моему, "Нью Йоркер". И в этом журнале как раз то, что я Маршаку советовал сделать: и русский балет, и русская икона, и передвижники, и соцреализм, и молодые художники, и авангард, и все вместе. И, конечно, этот журнал не вызвал никаких споров-раздоров. Не то, что публикация в "Лайфе".

В КАНАДСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ

Если бы не моя работа в канадском посольстве, где я трудился многие годы, наверняка моя жизнь пошла бы совсем по-другому. Не было бы знаменитого коллекционера Костаки и его коллекции! Объясню, почему я так думаю.

Когда я поступил в посольство, шоферы, которые работали там, и другой обслуживающий персонал приняли меня на равных. Ведь до этого я тоже работал шофером.

Но через некоторое время произошел один эпизод. В посольство привезли новую мебель. Мы ее разбирали, складывали, переносили в помещение. Третий секретарь посольства Мак Корник вышел во двор в спортивном пиджаке, в джинсах, в перчатках, и вместе с дворниками и шоферами начал таскать тяжести как простой рабочий. Меня это тогда очень удивило. Мы закончили работу, наступило обеденное время. Мак Корник обратился ко мне: "Господин Костаки, пойдемте ко мне обедать".

Все стоящие кругом удивились — что такое? — Секретарь посольства, дипломат, приглашает к столу Костакиса! Такое, однако, происходило не раз. Посол Уилгресс тоже относился ко мне с большим вниманием. Господином, правда, не называл, обращался просто — "Костаки", но тем не менее всегда подчеркивал, что я в посольстве являюсь некой фигурой.

Как-то раз мне поручили пойти в УПДК договориться по каким-то вопросам. Там меня встретили как-то с прохладцей, сказали — пусть кто-нибудь из канадцев придет, мол, мы с Вами не можем вести такого рода переговоры. Я пришел к послу и рассказал об этом. Уилгресс тут же написал в УПДК: Костаки является тем-то и тем-то, ему доверяется то-то и то-то, вплоть до подписи писем, имеющих отношение к обслуживанию посольства. После этого отношение ко мне резко изменилось. В УПДК меня стали называть господином Костаки!

Однажды приехала к канадцам комиссия из УПДК обсуждать вопрос относительно посольского особняка, раньше он принадлежал датскому посольству, и оно хотело его забрать. Приехал начальник УПДК, его заместитель, главный инженер и еще несколько человек. Поднялись наверх, в резиденцию посла. Меня в это время не было: мадам Уилгресс меня послала по каким-то делам. "Господа, — сказал посол, — придется подождать, я предложу вам "дринк", но мы не можем начать разговор, так как нет господина Костакиса, он должен вот-вот быть". Так незаметно, постепенно канадцы сделали меня "важной фигурой" в посольстве. Надо сказать, я старался не считаться со временем, оставался на работе допоздна.

В то время знал по-английски два-три слова: хау-ду-ю-ду, гут морнинг, гуд бай и больше ничего. Мой язык оставался сравнительно долгое время на таком уровне, потому что посол и его супруга говорили по-русски. И Мак Корник говорил по-русски, и военный атташе тоже. А те работники, которые плохо знали язык, старались со мной говорить по-русски для практики. Так что у меня практики в английском языке не получалось.

В первые послевоенные годы с продуктами случались перебои и я помогал посольству добывать продовольствие. Несколько раз выезжал километров за 150-200 от Москвы куда-нибудь в колхозы и совхозы, получив, разумеется, разрешение властей на поездку. Ведь это было, конечно, полузаконным делом, продукты отпускались через магазины. Как-то, я помню, я отправился в Рязанскую область и привез оттуда грузовик с овощами, тонн шесть; три тонны картофеля, тонну капусты, тонну моркови, тонну лука. Такое богатство, что трудно себе представить! Килограмм картошки на рынке сто-

ил тогда двадцать рублей или больше. А под Рязанью я купил все буквально за гроши по государственным расценкам. Истратил меньше тысячи рублей. Разложил я все, взял себе немножко. И говорю послу: "Господин Уилгресс, всего этого для посольства очень много, разрешите мне распределить часть овощей среди советских служащих. Они очень нуждаются: и шоферы, и уборщицы, и горничные". Посол согласился: "Костаки, это — хорошее дело, пожалуйста".

Я сделал список и стал распределять овощи в зависимости от численности семьи: "Петр, у тебя какая семья? Дети есть?" — "Нет, детей нет". Значит, два человека. — "А у тебя сколько?" — "У меня трое детей и жена". Пять человек. Этому полмешка, тому — мешок. Распределили все. Получил с людей деньги, хоть и маленькие — по 3-4 копейки, но, в общем, набралась какая-то сумма. Я все оприходовал. Составил ведомость и положил ее в стол. И все-таки без недовольных не обошлось.

Спустя некоторое время мадам Уилгресс зовет меня к себе наверх. Смотрю, что-то настроение у нее не очень хорошее. "Господин Костаки, — говорит, — я должна Вам сказать кое-что неприятное. Посол не хочет говорить с Вами об этом деле, попросил меня. Видимо, Вам придется оставить службу у нас". Я очень удивился: "Что случилось, мадам?" Она стала говорить что-то уклончивое и потом призналась, что меня считают "не совсем честным человеком". "Помилуй Бог, — возмутился я, — Вы хоть скажите, в чем дело". В ответ она показывает мне ту ведомость. Выяснилось, что одна сотрудница, русская, эту ведомость принесла послу и сказала, что Костаки со служащих собирает мзду: за то, что они тут работают, должны платить деньги. Я возразил: "Мадам Уилгресс, да побойтесь Бога! Что Вы говорите! Позовите Вашу горничную или с кухни повариху". Пришла Маша или Паша. Я говорю: "Вот, Маша, в списке твое имя, здесь 23 рубля. За что ты мне дала эти деньги?" — "Так ведь картошечку Вы дали мне, Георгий Дионисович, и морковку..." Мадам Уилгресс извинилась. К сожалению, склочницу не выгнали. А ведь это была откровенная попытка меня убрать. И такие попытки предпринимались не раз, иногда более серьезные.

Вот еще такой случай. Один знакомый художник, симпатичный вроде бы человек, часто бывал у меня. Он утверждал,

что у него какие-то большие связи в ЦК. Как-то он пригласил меня поесть шашлычка. Пошли. Сидим, разговариваем, водочки налили. Разговор зашел о моей коллекции. Я ему еще прежде часто говорил, что хотел бы куда-нибудь коллекцию устроить, может быть, в Третьяковскую галерею. На что он отвечал, что хотя власти не признают авангардное искусство, есть люди, которые признают, надо только этих людей найти. Словом, сидим, пьем водку, и он мне вдруг неожиданно заявляет: "Знаешь, я встречался с людьми из ЦК, очень хорошие люди, настоящие... Они знают, что я с тобой дружу и просили с тобой поговорить. Это тебя ни к чему не обязывает... В общем, дело такое, в Москве появился один опасный человек. Он ищет связь с канадским посольством, чтобы передать какие-то секретные документы. А опасен он тем, что когда-то работал на очень секретном заводе. С поличным его поймать очень трудно и потому к тебе маленькая просьба. Они, эти люди из ЦК, его с тобой познакомят и где-нибудь в машине или в ресторане он тебе передаст для канадского посольства то, что нужно. А они его в это время "хап" и сцапают... а ты..."

Я сразу все понял и говорю: "Знаешь, ты этим своим из ЦК-КГБ скажи, что Костаки еще с ума не сошел, чтобы на это пойти. Его "хап" и меня "хап" — вот и все. Нет, это — чистой воды провокация". "Ну, какая это провокация, ничего подобного!" В общем, после этого я с ним больше не виделся.

А в основном же, жизнь в канадском посольстве текла сравнительно гладко. Вначале жалование у меня было небольшое, но я попросил Уилгрессов с самого начала, чтобы мне платили в валюте. Получал 90-150 долларов — очень мало. Потом оклад повысился, я стал получать 400-500, а уж под конец платили 800 долларов в месяц. В общем, вполне хватало. К тому же обменный курс тогда поднялся — 25 рублей за доллар. Обменяв 100 долларов я получал две с половиной тысячи рублей. Так давал банк, и мне как иностранному подданому разрешалось обменивать валюту. Таким образом, у меня были кое-какие средства. А иначе не смог бы я собрать свою коллекцию.

Что я мог сделать по тем временам на эти деньги? Купить две хорошие иконы, скажем, XVI-го века, которые стоили по 500 рублей, и вдобавок к тому я еще мог купить две хорошие

картины, тех же Поповых, которые стоили по 800-1000 рублей. Мне разрешалось менять по 200 долларов, а когда этих денег не хватало, друзья-канадцы выручали, они ведь имели право обменивать гораздо больше, чем я, а им рубли были не нужны. Без такой возможности я не смог бы заниматься искусством.

Шло время, послы приезжали, уезжали, менялся дипломатический состав. Самый большой период моего пребывания в канадском посольстве прошел при Роберте Форде и его жене Терезе. Господин Форд ко мне относился очень хорошо, и Тереза, несмотря на свой сумасшедший характер, в общем, тоже благоволила.

Часто меня приглашали на обеды, ужины и на приемы. Был даже случай, когда мы с женой были приглашены на новогодний бал. А мой непосредственный начальник, администратор посольства, канадец, в ранге советника посольства, не был приглашен. Тогда я сказал Форду, что не смогу придти. Он спрашивает: "Почему?". "Мне неудобно, — говорю, — я ведь — маленький человек и работаю под началом Вашего советника, а он не приглашен". "А, это — пустяки, не беспокойтесь, — говорит посол, — я его приглашу". И на следующий день он все-таки пригласил этого человека.

Надо сказать, что Форд всегда производил впечатление джентльмена. Что касается мадам Форд, она, конечно, была женщина незаурядная, во многом преуспела. Скажем, взять хотя бы приемы в посольстве, которые она организовывала. Они, наверное, были лучшие в Москве. Но любила командовать! Причем, командовать не только у себя в посольстве, а даже за его пределами. С женами послов и советников расправлялась, как хотела. Кого хотела — приглашала, кого не хотела — не приглашала. Могла поставить в неловкое, неудобное положение. Секретари и советники натерпелись от нее.

Был такой случай, когда она готовилась к встрече Нового года и красила свои знаменитые елки: елки всегда красились в белый цвет и украшались зелеными, синими, красными шарами, что выглядело впечатляюще. Вдобавок к елкам она красила сучья деревьев и тоже ставила их рядом с елками. Она была человеком с большим вкусом и пониманием. И вот понадобилась помощь, она вызвала своего лакея-финна и послала

за женой одного из первых секретарей. Та просила передать, что больна, у нее температура 39. Тогда мадам Форд заявляет лакею: "Иди обратно и скажи, чтобы она оделась и через пять минут была здесь. Меня не интересует, какая у нее температура, 39 или 40. Когда у меня температура и мне нужно идти на прием, я иду. И она — не лучше меня, пусть сейчас же придет сюда". Так она относилась к людям, я бы сказал, очень жестоко, но была отходчива. Спустя какое-то время она опять становилась доброй и хорошей.

Случалось и мне претерпевать от мадам Форд, особенно в последние годы совместной работы. Иногда я искал подходящее место в посольском подвале, чтобы повеситься. Вот до чего она меня доводила!

Но однажды она узнала о моей коллекции и тоже начала интересоваться этим делом, даже просила меня иногда что-нибудь для нее приобрести, особенно, когда приближался день рождения Форда или ее собственный день. Приходилось искать, находить и уступать ей. Постепенно я почувствовал, что у нее появилась своего рода зависть. Потому что мадам Форд всегда старалась быть выше всех. А тут какой-то Костакис, о котором начала говорить Москва и все дипломаты. Она очень ревниво это воспринимала. Когда приезжали канадские директора музеев, представители какого-нибудь культурного центра или просто друзья, которых она приглашала, то я ездил на аэродром с послом их встречать. При встрече гости всегда мне говорили: "А, господин Костаки! Рады с Вами познакомиться, слышали о Вашей коллекции, мы обязательно приедем ее посмотреть". Но так никто и не приходил. Это мадам Форд им не разрешала. Она уверяла: "Вы, пожалуйста, не беспокойте господина Костаки, он это не любит, он очень занят" и т.д. В общем делала все, чтобы ко мне не приходили.

А я в самом деле никому не отказывал! Мог пригласить и английского посла, и американского, и французского — и не помню случая, чтобы кто-то отказался и не пришел. Но, что касается господина Форда, то он избегал наносить мне визиты.

Пару раз, когда меня должны были посетить очень важные люди — послы, директора музеев — то я приглашал и своего посла, но он отказался. "Нет, — говорит, — я лучше приду,

когда никого не будет". Он считал ниже своего достоинства идти ко мне в гости. В нем чувствовалось такое фанфаронство.

Тем не мене ко мне он хорошо относился. Когда в Монреале была выставка "ЭКСПО-67", он меня выделил как одного из лучших местных служащих, и мы с Зиной ездили туда.

Но потом в отношениях пробежала кошка. Как-то посол обратился ко мне: "Дай нам что-нибудь повесить в резиденцию. Стены голые, картин нет, пусть что-нибудь повисит". Ну, я им дал очень хорошее, большого размера масло Александры Экстер 1912 года, Сержа Полякова и еще какие-то вещи, уж сейчас не помню. На время, конечно.

Время от времени мадам Форд меня просила, и я что-то им уступал: то Кандинского устрою по дешевой цене то Попову, то Клюна. В общем, я дал им возможность купить многие работы. Мадам бывала очень довольна, всегда говорила, что я ей "как брат родной, даже брат не сделал бы того, что делаешь ты..."

Тем временем в Москве появилась партия произведений Кандинского. Я давно слышал, что в Москве у кого-то имеется пятьдесят его работ, которые в свое время привезли из Германии, и все они с печатями немецкого музея... сейчас уже не помню какого. И вот спустя несколько лет эти вещи стали появляться на рынке в Москве. Один человек купил, другой... Приносят мне две работы и предлагают купить. Я посмотрел, они мне не понравились. Я уже видел очень много акварелей и гуашей Кандинского и у его жены Нины, и в собрании Гэргрюма в Париже, и у Фринкера. А здесь, чувствую, вещи какие-то мертвые. И я отказался купить. Говорю: "нет, это не Кандинский. Эти работы скорее похожи. Есть такой художник Бауеров, последователь Кандинского. Немножко на него похожи. Но с подписью Кандинского".

Человек, предлагавший работы, стал настаивать. Я вспомнил, что Нина Кандинская должна приехать в Москву месяца через два и сказал: "Оставьте, я ей покажу". Приехала Нина, посмотрела и заявила: "Это — Кандинский. Хотите, я Вам заверю?" И заверила. Ну, раз Нина заверила! Все-таки Нина — это Нина, вдова Кандинского. Может быть, я ошибся? Словом, я взял эти вещи. Позже купил еще две вещи, а потом еще обменял.

Всякий раз, когда Нина появлялась в Москве, я ей показывал все новых и новых Кандинских, которых я приобрел и она их подписывала. У меня этих подписанных Ниной Кандинской вещей собралось наверное, штук шесть.

Помню, получил я очередные две вещи. Они лежали на столе, когда пришли ко мне австрийцы, муж и жена Бауер. Увидели: "Ах, как интересно!" Я говорю: "Да, вот вчера принесли". И они, наверное, сказали о моей покупке мадам Форд. На следующий день она меня вызывает — сама как фурия! — и говорит: "Как тебе не стыдно? Мы к тебе так хорошо относимся, посол для тебя все делает. А ты покупаешь себе все время Кандинских, а нам не хочешь помочь!" "Мадам Форд, — отвечаю я, — я покупать-то покупаю, но не уверен, что они — подлинные, потому что одна из этих вещей уже побывала в Лондоне и тамошние эксперты сказали, что это — не Кандинский". — "Ну, как бы ни было, ты мне должен уступить те две вещи, которые только что купил". Пришлось согласиться. На следующий день я ей их принес. Они были не подписаны, но она осталась довольна.

Проходит какое-то время, новые Кандинские появились. Среди них одна работа из Баухауза 1920 года — геометрические формы. Тоже с печатью того же музея. Я показал Нине Кандинской, и она определила: "Это не Кандинский", — "Как же не Кандинский?" — "Нет, нет. Это не Кандинский, потому что в Баухаузе, когда он писал, то с обратной стороны ставил номер и подпись. Это — стопроцентный фальшак". Я говорю: "Ну, тогда, значит, и другие — фальшивые".

Я тут же пошел к мадам Форд и сказал: "Так и так: мадам Форд, была Нина Кандинская, теперь она говорит, что это — не Кандинский". — "Ах, — отвечает мадам Форд, — она ничего не знает, это все ерунда. И вообще, Нина мне должна подарить Кандинского. Она все время останавливается у меня, ночует здесь со своим хахалем, уверяет, что это ее доктор, но это никакой не доктор, я знаю, чем он ее лечит..."

Потом приехал специалист по Кандинскому Ротель. Я ему показал все эти вещи. И он подтвердил: "Все фальшивые. Начать хотя бы с того, что Кандинский акварели в 1913, 1914, 1917 и 1918 годах никогда не подписывал полностью, ставил только галочку и букву "К". Тот, кто подписывал "под Кан-

динского", видимо, этого не знал и подписал полностью "Кандинский". А сам художник полностью подписывался только на работах маслом.

На следующий день я опять к мадам Форд. Говорю: "Как я Вас предупреждал, так и есть. Вчера был Ротель и определенно сказал, что все эти вещи — фальшивые. Давайте мне их обратно, я Вам деньги верну и на этом дело кончится", А она: "Нет, не нужно. Мало ли что Ротель говорит. Теперь будут выдумывать! Давай сделаем так: ты мне принеси те работы, которые Нина тебе подписала, а эти возьми. Я их повешу, а если кто-нибудь будет говорить, что это — не Кандинский, я сниму со стены и покажу: вот, видите, Нина Кандинская заверяет". "Ну, — говорю я, — смотрите, мадам Форд, дело Ваше, только Вы это зря...".

Прошло еще какое-то время, супруги Форд поехали в Париж. Возвращаются, Фордиха зовет меня наверх: "Посол в бешенстве. Я не знаю, что он с тобой сделает". "А в чем дело, мадам?" — "Да как же! Мы были в Париже, пошли в одну галерею и показали своих Кандинских, над нами там начали смеяться. Говорят: это — фальшаки. Никакого отношения к Кандинскому они не имеют". "Так я же Вам говорил, мадам Форд, об этом много раз и просил отдать их обратно". — "Да, но ты знаешь, это уже невозможно, потому что посол привык к мысли, что у него есть Кандинские. Но Нина Кандинская мне сказала, что у тебя есть настоящие Кандинские. Так вот, ты должен нам дать своих настоящих, тогда конфликт будет разрешен".

Другими словами, это был настоящий шантаж. "Мадам Форд, — говорю, — этого я не сделаю. Я ведь Вас предупреждал". Но в один прекрасный день она снова зовет меня и настаивает: "Ты знаешь, что здесь в посольстве все против тебя, и советник, и первый секретарь, и второй секретарь — все дипломаты очень недовольны тобой и требуют от посла, чтобы тебя убрали. Но он тебя держит, он тебе помогает. Неужели ты хочешь потерять должность?" А я в ответ: "Может быть, я и потеряю должность, но на это не пойду".

Но в покое меня не оставили. Нажимали, нажимали... Устроили провокацию в Канаде, о которой я уже рассказывал: точно знаю, что это была работа посла. Не случайно Форд

меня спросил, когда я вернулся: "Ничего с тобой не случилось?" Откуда же он узнал, что могло что-то случиться? Потом и КГБ начало на меня нажимать, в общем, мне уже нечем было дышать. Зина говорит: "Да отдай ты им этих Кандинских, не связывайся. Ведь совершенно безвыходное положение". Были у меня акварели Кандинского очень хорошие и я, дурак, их им отдал... Написал письмо: "Господин Форд, как Вы просили, посылаю Вам этих Кандинских, только отдайте мне Экстер". Но Экстер, которую я им дал на время, я, конечно, не получил! И картины Кандинского без подписи, они мне тоже не вернули... Мало того, скоро мне объявили, что я должен уходить на пенсию. Другими словами, захотели меня вышвырнуть из посольства. После этого в посольстве я работал, наверное, еще шесть месяцев, но без жалования.

Однако перед моим отъездом из России Форд был любезен ко мне. Когда узнал, что я получил разрешение, но задерживают визы в США для моих детей, то даже предложил: "Если хочешь, я могу устроить, чтобы тебе разрешили приехать в Канаду, будешь там жить, а потом переедешь в Америку". Года полтора назад он мне позвонил и говорит: "Продаю "Экстер" через аукцион "Кристи". Если ты возражаешь, скажи мне..." Я посмотрел по каталогу: работа оценена в сумму от30 до 50 тысяч долларов (а на самом-то деле она стоит 150 тысяч!). Тогда я ему предложил: "Знаете, господин Форд, отдайте мне эту вещь, я Вам заплачу эти 50 тысяч долларов". Он согласился, и я эту вещь получил. То есть фактически я у него свою собственную вещь купил.

НЕУЮТНАЯ ЖИЗНЬ

Настало такое время — шла вторая половина 70-х годов — когда я почувствовал, как вокруг меня стали возникать разного рада неприятности.

На первых порах моего увлечения авангардом власти смотрели на это как на какую-то забаву — никто серьезно не обращал внимания. Но вот о моей коллекции начали писать в журналах и газетах, американских и английских, были пере-

дачи по "Голосу Америки" и по "Свободной Европе". В довершение всего зарубежные музеи стали обращаться в Министерство культуры с просьбой продать, скажем, картину Малевича или Поповой, а тем отвечали, что картины у Костакиса. Постепенно тайное начало становиться явным, то есть люди и, в том числе официальные власти и КГБ, поняли, что "грек-чудак", многие годы собиравший никому не нужный "мусор", на самом деле собрал коллекцию, которая стоит больших денег. И настал момент, когда жить в Москве с такой коллекцией стало неуютно.

Мы все время боялись ограблений, нападения на нас и наш дом. Квартира наша не была как следует защищена, двери, как и во всех советских квартирах, можно было пальцем проткнуть...

В конце концов так и случилось: меня ограбили. На первый взгляд — все было незаметно. Дверь, на которой стоял прочный замок, никто не взламывал. Окна тоже оставались закрытыми. Тем не менее кто-то проник в квартиру. Со стен ничего не украли, но унесли большое количество работ на бумаге из моего запасника. Заметил пропажу я лишь недели две спустя. Полез зачем-то в свое хранилище и обнаружил, что восемь Кандинских, из тех, которые я приобрел у вдовы секретаря художника, пропали... Пропала также большая пачка рисунков и гуашей Клюна и еще некоторые вещи. В общем, много, много пропало...

Разумеется, я сообщил в милицию. Но помочь мне ничем не смогли.

Прошел год. И снова кража. И снова из запасника. В тот день к нам приехал один человек, который часто у нас бывал и считался, в общем-то, другом дома. Он пригласил всю нашу семью: Зину, меня, и дочку и сына — всех, куда-то далеко за город на шашлык в какой-то ресторан. Мы уехали почти на весь день. Помню, у меня возникло какое-то недоброе предчувствие... Вернувшись домой, я тут же все осмотрел. На стенах все было на месте, ничего не тронуто. Пошел в запасник: так и есть — кража! Я ужасно расстроился.

Прошло два-три дня. Звонит жена моего брата из Баковки, где у нас еще сохранилась старая дача. В Баковке собирались картины молодых художников, на даче было очень много ра-

бот и рисунков Анатолия Зверева. И вот панический звонок: "Пожар! Горит дом, приезжай, скорее!"

Я помчался туда. Полдома уже сгорело. Пожарные приехали, но без воды, гасить нечем. Поднялся я наверх, где хранились работы Зверева — все залито водой, многих вещей нет. На стенах здесь висели иконы, написанные на толстых досках. Если бы они сгорели, остались какие-то следы, но от икон и следа не осталось. Ясно было, что кто-то поджег дачу, чтобы скрыть кражу. Я открыл окно второго этажа и посмотрел вниз — в овраг. Еще лежал снег, и на снегу четко виднелись следы. И еще в снегу валялись работы Зверева и других художников. Видимо, воры таскали награбленное через овраг в машину.

Случилось это в 76-м году. Я был в ужасе и решил обратиться за помощью в самые высшие сферы. Мы с дочерью Лилей написали Андропову, а другое письмо — Брежневу. В этих письмах я объяснил, что украдено большое количество работ из моей коллекции, которая предназначалась для Третьяковской галереи. Об этом уже сообщил журнал "Америка", опубликовавший мое интервью; я заявил, что хочу передать мое собрание в дар Третьяковке, но с условием, чтобы куратором назначили Лилю. Сам же намеревался доживать свой век в Москве вместе с коллекцией икон.

В своих письмах я просил у правительства помощи. Я ведь догадывался, кто совершил кражу, и сообщал о своих подозрениях. Еще обратился в управление по обслуживанию дипкорпуса УПДК: просил помочь получить аудиенцию у Андропова, поскольку речь шла об очень важном деле.

Пришли два представителя, видимо, КГБ в штатском. Они сообщили, что товарищ Андропов готовится к съезду партии и не сможет меня принять. Думаю, что и писем моих ни Брежнев, ни Андропов не получили.

Несколько позже меня вызвали на беседу и просили не волноваться: человека, которого я подозреваю, допросят, и правда восторжествует. Время меж тем шло, и я узнал, что предполагаемый грабитель собирается уехать в Англию (он был женат на англичанке). Я сообщил об этом "куда следует". Но мне ответили, что не могут его не выпустить, потому что он английский подданный. Это была чепуха — у него же был советский паспорт, только жена его была английская поддан-

ная. Тем не менее он преспокойно уехал, а кражу так и не раскрыли.

Я понял, что меня обманули и обратился к американским и французским корреспондентам, рассказал всю эту историю. По всем "голосам" начали ее передавать, причем несколько сгущая краски: в одной передаче сказали что чуть ли не всю коллекцию у меня украли...

После этого шума против меня началась открытая травля и провокации. Меня предупредили, что, если я буду настаивать на расследовании, поднимать скандал, — то будет хуже: в газетах появятся статьи о том, что Костаки спекулирует картинами. Я ответил, что не боюсь и на статьи в советской прессе отвечу статьями в американских и английских газетах. В общем, произошла крупная ссора. Меня начали запугивать, шантажировать.

Сижу я как-то дома, зазвонил телефон. Подошла жена сына — Марьяна: "Кто-то просит господина Костаки — по-русски. Я подошел: "Алло, я слушаю". — "Это — господин Костаки?" "Да". В ответ матерная ругань: "Ты, твою мать, жулик, ты переправил много картин за границу, ты не коллекционер, а спекулянт! У тебя все отберут: мы будем обращаться в Министерство культуры и Министерство иностранных дел" и т.п.

Прошло несколько дней, опять телефонный звонок: "Георгий Дионисович! Это — художник Васильев говорит. Что у Вас там случилось?" По тону говорившего мне показалось, что это друг, человек, который мне сочувствует и хочет мне помочь. Я стал рассказывать о своей беде. И вдруг звонивший уже в другом тоне говорит: "Георгий Дионисович, ну, зачем Вы врете, никто у Вас ничего не украл. Вы сами украли и сами отправили все за границу. А теперь ищете какого-то неведомого грабителя. С этим безобразием нужно покончить! Мы обратимся в Министерство культуры и скажем, чтобы Вас лишили коллекции. Такой человек, как Вы, не должен владеть русским искусством". И дальше в таком же духе.

Возле моего дома время от времени появлялась машина, а то и две, с антеннами для подслушивания, которые выставлялись на три-четыре метра. Телефон все время дренькал — записывали разговоры.

Но я ведь ничего не переправил за границу! Хотя мне и не раз предлагали это сделать друзья-дипломаты: "Мало ли что может случиться", говорили они. Но я отказывался: "Зачем?".

Я перестал спать по ночам. Было так страшно, что мы с дочерью Лилей перестали ездить вдвоем на машине. Избегали короткой дороги через мост, ведущей к нам на Юго-Запад — боялись, что грузовиком нас могут спихнуть в реку, ездили по Ленинскому проспекту, делая круг, Лиля на своей машине, я — на своей.

Так продолжалось долгое время. Мы все измучились. И я не выдержал, решил покинуть СССР. Но это оказалось непросто. Я предложил оставить в СССР большую и лучшую часть своей коллекции и, одновременно, просил, чтобы небольшую часть мне разрешили взять с собой. На что мне было содержать семью на Западе?

Приехал я в Министерство культуры, к Халтурину*. Он начал жаться и говорить нечто невразумительное: "Георгий Дионисович, что-то происходит, кто-то где-то тормозит и, видимо, ничего не получится... Может быть, Вы просто продадите коллекцию нам и получите деньги? Государство может Вам выплатить 500 тысяч рублей". Я возразил: "что я буду делать на эти 500 тысяч? Остаться я уже не могу и не хочу. А вы меня ставите в положение человека, которому разрешили купить 50 банок икры, с тем чтобы ее продать где-то во французском ресторане или взять два-три ковра на вывоз!"

Скандал тем временем получил широкую огласку — о нем уже знали все коллекционеры Москвы и Ленинграда и все боялись иметь со мной дело. Ко мне перестали заходить, перестали звонить. Я остался один, без всякой помощи.

Моя дочка Лиля и жена Зина предложили обратиться к Владимиру Семеновичу Семенову, который был в то время заместителем министра иностранных дел и представителем СССР при ООН. Я его хорошо знал, так как он тоже был коллекционером и имел очень хорошую коллекцию доавангардного периода — много отборных работ Фалька, Лентулова, Павла Кузнецова. Мы часто бывали друг у друга, Семенов очень милый человек, ко мне хорошо относился. Но сумеет ли он мне помочь — я сильно сомневался... Однако Лиля настаивала.

---

*Начальник управления изобразительных искусств

Семенов работал в основном в Женеве и редко бывал в Москве. Но Лиля через знакомого журналиста выяснила, когда можно застать Семенова дома. И я поехал к нему в правительственный дом на набережной Москвы-реки. Просторная квартира, на стенах картины. Я подробно часа два рассказывал о своих делах. Он внимательно слушал. Потом сказал: "Георгий Дионисович, Вы попали в руки мафии. Мне как государственному деятелю неудобно это говорить, но у нас в КГБ есть "отдел мафии", который делает, что хочет — работает "без крыши", то есть без прикрытия. Если что-нибудь случается — их нет... Но им и не запрещают делать то, что они хотят. Хорошо, что Вы пришли ко мне. Пойдемте — выпьем водочки, закусим, поговорим".

Мы пришли в столовую, налили по рюмочке, сидим, разговариваем. И он произнес такую фразу: "Георгий Дионисович, я постараюсь Вам помочь за Ваше доброе сердце и за Ваши добрые дела".

И тогда я вспомнил, что за год до этого произошла такая история. Ко мне пришел Чудновский — коллекционер из Ленинграда, очень известный, который тоже знал Семенова. Чудновский обратился за советом: не знаю ли я в Москве хорошего кардиолога, потому что у его внучки редкое заболевание "блюберри" — "голубая кровь" — надо делать операцию на сердце, иначе через год девочка умрет. Я ответил, что у меня есть друг — Бураковский, директор Кардиологического института. Я позвонил Бураковскому. Он велел привезти ребенка, посмотрел и сказал, что сделать ничего нельзя, потому что, к сожалению, у него в институте нет специалистов для такой операции. Специалисты есть в США, где эта операция стоит 40 тысяч долларов, и в Лондоне, где это стоит дешевле — 7 тысяч долларов. На следующий день пришел Чудновский, плачет. Тогда я сообразил: "Попроси Семенова, пусть даст визу жене твоего сына, чтобы она отвезла девочку в Лондон". А где же деньги, ведь это стоит так дорого!" Я говорю: "А деньги я дам. У меня в Канаде есть доллары. Трудно будет получить визу. Но русские — очень сентиментальные люди, и, когда это касается спасения ребенка, они могут согласиться".

На следующий день я поехал в Госбанк, оформил все, как положено — получение в Лондоне денег по счету. После этого

Чудновский пошел к Семенову, и, видимо, сообщил, что получил деньги от Костаки. Поэтому Семенов так и сказал, что "за твои добрые дела и тебе помогу".

Словом, пообещал он переговорить на самом верху, с Юрием Владимировичем Андроповым: "Георгий Дионисович, Юрий Владимирович — мой самый близкий друг, мы с ним как два брата. Когда мы маленькие были, вместе в футбол играли. Когда я приезжаю в Москву, мы всегда встречаемся. Я ему расскажу о том, сколько Вы сделали для русского искусства! Юрий Владимирович Андропов — замечательный человек, он — очень честный человек. Он в КГБ работает как Иисус, выметает всю нечисть, всех жуликов". Приехал я домой, наверное, в час ночи. Зина и Лиля сидели на кухне, дожидались от волнения. "Девочки, — говорю я им, — кажется, все слава Богу, он обещал помочь".

Проходит день, проходит два — а Семенов мне сказал, что через три дня опять уезжает в Женеву. Я не выдержал и на третий день утром позвонил — из дому я не хотел звонить — спустился к автомату. "Алло, — говорю, — да, да, это я". "Георгий Дионисович, — отвечает, — я же сказал, когда что узнаю, сам Вам позвоню. Я еще его не видел". Пришел я домой расстроенный: "Лиля, он ничего не сможет сделать"... Лиля в ответ: "Папа, не торопись. Семенов — не такой человек. Если бы он не мог, он бы тебе сказал. Надо ждать".

Проходит еще день. Утром рано — звонок, прямо на квартиру. Семенов: "Георгий Дионисович, вчера видел Юрия Владимировича, все ему рассказал, все ему объяснил. Он очень возмущен действиями своих людей. Если Вы хотите уехать, можете это сделать. Но если Вы хотите оставаться, то стопроцентная гарантия, что Вас никто пальцем не тронет. Что касается вещей, которые у Вас украли, сейчас трудно сказать, найдутся или нет, но относительно тех двадцати процентов, что Вы просили разрешить Вам вывезти, то на это получите "добро" буквально на днях".

Еще несколько дне прошло. Вечером я выхожу из посольства, прошел через парадный вход мимо охранника, открываю дверь выходить, а мне сверху кричат: "Мистер Костакис, телефоун фор ю". Я — "Алло". А это Халтурин из Министерства культуры: "Георгий Дионисович, разрешение получено. Когда можно приехать начинать?" Я говорю: "Хоть завтра, пожалуйста".

Картины, которые я собрал, были для меня, что родные дети... В преддверии расставания я мучительно думал о том, что каждая вещь, которая уйдет от меня, — это часть меня самого и я буду чувствовать боль, как от кровоточащей раны.

Однако, потому, быть может, что я все это уже так ярко пережил в душе, в решающий момент жена и дети были просто поражены моей стойкостью. Пришел Манин, заместитель директора Третьяковской галереи, и мы начали дележку...

Надо сказать, что Манин оказался благороднейшим человеком. Порой у нас с ним доходило до спора. Он говорил: "Это, Георгий Дионисович, оставьте себе". А я в ответ: "Нет, это вы должны взять, потому что это — единственная вещь, и второй такой нет". Так было, например, с моим любимым рельефом "Пробегающий пейзаж" Клюна, который я просто обожал. Он воспроизведен на обложке большой книги — я знал, что этот Клюн — один единственный и не хотел брать его с собой, настоял на том, чтобы музей оставил ее себе.

Так и шла наша дележка... Настрой у меня был таков: я, Георгий Костаки, действительно сделал большое дело, но ради чего, для кого? Лично для себя? Нет. Жизнь человека коротка. Пройдет еще десять, ну, двадцать лет, меня не будет, а после себя нужно что-то оставить, хотя бы доброе имя. Каждый человек должен об этом думать, сознавая, что настанет его время уйти в поднебесье.

Я всегда считал, что сделал добро тем, что сумел собрать то, что иначе было бы потеряно, уничтожено и выброшено из-за равнодушия и небрежения. Я спас большое богатство. В этом моя заслуга. Но это значит, что спасение должно принадлежать именно мне или кому-нибудь другому, кому я мог бы завещать свои картины. Они должны принадлежать России, русскому народу! Русский народ из-за глупости советских властей не должен страдать. С таким настроением мне было очень легко все передать людям, и я старался отдать лучшие вещи. И я отдал их.

Легче легкого было бы взять лучшее себе. Я мог взять Малевича "Портрет Матюшина". Отдать нескольких Ларио-

новых, еще что-то, и взять Малевича... Но я не стал этого делать. Не взял потому, что пока я жил в России и создавал эту коллекцию, у меня было много друзей, которые меня уважали. И я думал, что если я возьму "коронные" вещи, в том числе, скажем, "Портрет Матюшина", что же скажут потом мои друзья? Скажут, что Костаки радел не за искусство, за русский авангард, а просто соблюдал свой интерес и, зная цену произведениям, он, сукин сын, взял все лучшее и увез! Меня бы осудили даже самые близкие. Я не пошел по такому пути и считаю, что поступил правильно.

Дележка коллекции заняла несколько дней. В музее меня очень торопили: "Давайте, давайте быстрее". Я никак не мог понять, к чему такая спешка. Лишь позже выяснилось, что через месяц в музее ждали приезда большой группы директоров, кураторов и искусствоведов из разных стран. Гостям намеревались показать русский авангард и в том числе, конечно, мои вещи. Для этой цели в Третьяковской галерее была выделена большая зала, где и разместили примерно сто картин. Из них 49 принадлежали моей коллекции, причем лучшие, "коронные" вещи. Мне посчастливилось увидеть все это совершенно случайно, еще до открытия выставки. В отделе икон работала знакомая реставраторша, она меня провела в заветный зал, и я, быстрым взглядом окинув стены, все увидел. Прекрасная была экспозиция! Под моими работами значилось: "Дар Георгия Дионисовича Костаки".

Когда же наступил день вернисажа, я приглашения не получил... Позже мне рассказывали, что люди спрашивали: "А где же Костаки? Дар Костаки, а где сам Костаки?" Нету Костаки... Я был так огорчен и обижен, что у меня подступил ком к горлу, хотелось плакать, как бывало в детстве, когда родители наказывали. Но я не мог плакать, только чувствовал, что меня что-то душит.

На следующий день я пошел в Третьяковскую галерею, встретил Манина и говорю: "Как же так? Почему же Вы меня не пригласили ?" "Ой, Георгий Дионисович, мы думали, что Вам приглашение пришлет Министерство культуры". "И Министерство культуры мне не прислало приглашение и вы не прислали. Нехорошо..." Я знал, что через день-два у них состоится второй просмотр и попросил, чтобы хоть на этот раз

меня пригласили. Манин пообещал, но и во второй раз меня проигнорировали...

Еще в те дни, когда мы делили картины, ко мне обратился Халтурин: "А что Вы думаете делать с иконами, Георгий Дионисович?" У меня было наверное икон 130 или 140, причем очень хороших. Я знал, что разрешение вывезти иконы мне, конечно, не дадут и думал оставить их дочери. Наверное, так и надо было бы сделать, но Халтурин меня уговорил: "Дайте нам половину, а другую половину мы вам разрешим вывезти". Я подумал-подумал и согласился. Тут же приехали из Рублевского музея, отобрали самое лучшее, правда и у меня остались неплохие вещи.

Дня через два-три уже передав половину коллекции Рублевскому музею, я отправился в Министерство культуры к тому же Халтурину со списком икон, которые просил разрешение вывезти. Он посмотрел и говорит: "О, да тут XV-XVI век! Нет, Георгий Дионисович, это мы вам не можем разрешить увезти. Да, тут еще "Спаситель" XIV века... Нет-нет. Не можем". "Так с какой же стати, — говорю я, — я Вам отдал половину икон? Выходит вы меня обманули!". "Ну, — оставьте, — говорит, свои иконы дочери". "Я бы все их мог оставить!" Вот так со мной обошлись советские чиновники от искусства.

У меня в коллекции была замечательная, редчайшая работа Лисицкого, большая, масло. Будучи настроен очень патриотически, я настоял на том, чтобы этот Лисицкий остался в Третьяковской галерее. Просто взял, отрезал себе полноги и отдал! А вот лучшие работы Родченко почти все я увез с собой. Почему? Да по той простой причине, что эксперты, которые отбирали картины для Третьяковской галереи, Родченко ни в грош не ставили. Для них Родченко был не художник, а фотограф. Поэтому, когда на кон ставилось большое полотно Родченко, они говорили: "Ну, берите себе Родченко, а нам дайте вот эту Гончарову, какую-нибудь маленькую акварель или еще что-нибудь". Таким образом картины Родченко остались у меня. А Лисицкого я сам оставил...

Но когда Министерство культуры со мной так поступило, я был охвачен горечью, досадой и обидой. "Знаете, — говорю, — раз мне оговоренную часть икон не отдали, так оставьте ее себе, я мне вместо этого верните Лисицкого". Тут Манин на-

чал плакаться: "Ну, как же так, Григорий Дионисович! У нас в Третьяковке ни одного большого Лисицкого нет... Только маленькие акварели. И потом — это уже зафиксировано, это уже в музее". Я ему предложил: "Тогда поговорите с министром культуры". Он поговорил и министр соблазнился тем, что они могут получить еще чуть ли не полсотни икон за какого-то Лисицкого. И Лисицкого мне вернули.

Но тут уж и я решил сжульничать. Думаю: "Вы — жулики, и я буду таким же". Говорю Халтурину: "Лисицкого я теперь получил, но не думайте, что я вам все иконы оставлю. Вот вам за Лисицкого семь икон, а остальные я оставлю дочери". На этом и порешили.

В Третьяковской галерее не было тогда специалистов по авангарду, и поэтому когда шел отбор, то, конечно, в этом деле разбирался только Георгий Дионисович, то есть я. Поэтому это я и подсказывал, что следует оставить для музея, а что — нет. Надо сказать, что вообще специалистов по русскому авангарду в России немного. И если они и есть, то порой рассуждают довольно странно.

Есть, например, в Москве Николай Николаевич Харджиев, уважаемый человек, знающий, считающийся специалистом по авангарду. Но по его концепции авангард состоит из каких-то, скажем так, десяти-двенадцати художников. В это число входят очень известные мастера, такие как Шагал, Кандинский, Ларионов, Гончарова, Малевич. А всех остальных Харджиев как-то так под одну гребенку — и в эпигоны. Они, мол, малоинтересны, они последователи, притом неудачные, того же Малевича. Но здесь-то он глубоко ошибался! Костяк авангарда составляет не менее семидесяти имен. В моем собрании, например, было около пятидесяти художников. Многих достойных не хватало, потому что или я упустил, или просто не успел купить. Возможно, где-то лежат их вещи. Движение авангардистов, это направление в искусстве надо рассматривать как "Клондайк" — нужно рыть и искать, искать и находить все новое и новое. Точка зрения Харджиева, на которой он настаивал, на мой взгляд, вредна, не просто потому, что ограничивает угол видения. Самое ужасное то, что он как бы по эстафете своим авторитетом передает ее молодым

искусствоведам, они продолжают говорить голосом Харджиева, и порой их трудно переубедить.

Помню, как-то ко мне приехали из Ленинграда Ковтун и Повелихина, очень серьезные люди, хорошие искусствоведы, специалисты по Малевичу. Я им показал свою коллекцию, заговорили о Клюне, но они отнеслись к нему с пренебрежением, сказали, что это — малоинтересный художник. Тогда я стал постепенно вынимать из своего запасника работы Клюна и ставить перед ними, одну за другой. Смотрю, они оживились, глаза у них начали раскрываться, и Ковтун говорит: "Да, Георгий Дионисович, вы правы. Беда в том, что мы такого Клюна и не видели. Те работы, которые у нас есть в Ленинграде в Русском музее, они или ранние, или не того периода, то есть не дают полного представления об этом художнике". Тут я решил, что настало время вытащить на поверхность и Родченко. Но о Родченко они и слушать не хотели! Что бы я им не говорил, что бы им не показывал, они твердили: "Родченко — это не художник..."

Так что в России, я считаю, четкого, верного понимания авангарда нет. Не определились места, которые должен занимать тот или иной художник по своей значимости. Никто точно не прочертил лестницу от Татлина и Малевича к мастерам, которые завершали это направление в 1924-1925 годах.

После того, как коллекцию разделили, я начал упаковывать вещи. Получилось примерно 30 ящиков. Приехал фургон "Интердина", который перевозил вещи. Поехали мы на таможню.

Я сказал сыну: "Саша, попроси маму сделать нам побольше бутербродов, потому что мы на таможне пробудем несколько часов". У нас были приготовлены большие списки и фото с картин, разрешения с печатями. Отдел таможни, ведавший искусством, возглавлял тогда Борис Борисович Ключарев, очень милый человек. Я его много лет знал, потому что по делам канадского посольства часто ездил получать грузы. Я ему говорю: "Вот, Борис Борисович, я уезжаю". И даю огромную кипу фотографий. Он эти фотографии просмотрел за две минуты, отложил и сказал: "Это я потом". И крикнул своему помощнику Василию Васильевичу: "Вешай пломбу!" Я удивился: "Как же вы так можете, ничего не проверяя?!" " А мы

вам доверяем, Георгий Дионисович". В общем, через двадцать минут мы уехали домой. И бутерброды не понадобились.

Это был приятный сюрприз. Видимо, поступило указание Андропова никаких трудностей мне хоть тут не чинить. Но еще оставались какие-то вещи: часть икон, мебель, рисунки, работы молодых художников. В общем, довольно-таки много набралось — на один контейнер. Мы все собрали и недели через полторы опять поехали на таможню. Опять ничего у нас не стали смотреть.

Меня все время донимала мысль: "Как бы чего не упустить! Может быть, где-нибудь еще что-нибудь хранится, о чем я забыл?" И вспомнил, что в одном месте лежит еще одна работа Клюна. Думаю: "Надо взять". Поехал, взял эту вещь. А получить разрешение от Министерства культуры на вывоз времени уже не оставалось. Все последние вещи мы упаковали в ящик метра два длиной, полтора шириной. Большой такой ящик, плоский. Положил я туда и Клюна. Были у меня еще ткани, самаркандские, старые. Одна — наверное XVI века, а вторая XVII. Они из себя ничего не представляли, но все-таки музейная редкость, музейные вещи. Я их хотел отдать Наташе, той дочери, что с мужем оставалась в Москве. Но Наташа говорит: "Нет, папа, ты должен это взять, маме ткани нравятся. Вы купите дом, мама повесит их где-нибудь, будет красиво". Кончилось тем, что мы упаковали большие картины молодых художников, завернули их в плотную коричневую бумагу, а сверху Наташа положила эти самые ткани и бумагой закрыла. А на самый верх я положил Клюна.

Пошел, лег спать. Утром должны были приехать из посольства дворники, шофер, чтобы отвезти меня на таможню. Лежу в кровати, а не спится. Думаю: И не заряженное ружье стреляет". Встал, открыл ящик и вынул Клюна. Вынул, лег спать и заснул спокойно.

Утром приехали мы на таможню. Я предъявил фотографии, наверное двенадцать, в основном с работ молодых художников. Клюна среди них не было. Борис Борисович был на этот раз занят, направил меня к Василию Васильевичу, тот взял фотографии и начал играть в пасьянс; один раз посмотрел, потом второй раз начал смотреть, третий раз и опять сначала. Я говорю: "В чем дело? Может вы хотите посмотреть,

что в ящике?" Он говорит: "Да, Георгий Дионисович, я боюсь, что следует мне посмотреть". "Ну, — думаю, — слава Богу, что я вынул Клюна!"

Видимо после того, как Андропов дал разрешение, кое-кто в КГБ не мог успокоиться: очень уж были злы на меня и всячески старались поймать на чем-то, чтобы потом Андропову сказать: "Мы же говорили, что Костаки жулик. Вот, пожалуйста, доказательство". И тогда была бы катастрофа в полном смысле слова. Раззвонили бы в газетах. И никто бы меня не пожалел — ни друзья, ни дипломаты. Сказали бы: "Так ему и надо, дураку. Получил разрешение, да вдобавок и контрабандой хотел что-то вывезти. Позор!" Больше того, могли прямо сказать: "Или десять лет за контрабанду, или прикажи, чтобы вернули вещи из-за рубежа обратно, и тогда посмотрим, что ты там напихал..." и т.д.

Ну, думаю, слава Богу, что я вынул Клюна... Но оставались еще ткани.

Ящик лежал на столе. Подошли еще два помощника, Василий Васильевич тут же, мои шоферы стоят. Вдруг, смотрю, откуда-то появились двое в штатском, в черных костюмах — ясно, "друзья" из КГБ. Тоже встали рядом. Я подошел к ящику, ну, думаю, сейчас откроют и обнаружат музейные вещи и сразу начнется: пошлют на экспертизу к специалистам, те скажут, что это историческая редкость, и выйдет еще хуже, чем с Клюном... Я чуть не умер от страха!

Тем временем таможенники открывают ящик и собираются в нем рыться. Тогда я их останавливаю: "Подождите, я все сделаю сам". Что же я делаю? Я просовываю в ящик левую руку, нажимаю на ткань, а другой рукой вытаскиваю картину. Так, что ткань остается между бумагами, а картина снаружи. Эту бумагу с тканью — в сторону. Так я сделал три раза. Они ищут, ищут, ничего нет. Дошли до дна: на дне лежала, я помню как сейчас, большая картина Зверева — "Достаньте". Я говорю: "Это — Зверев". — "Достаньте". Достал я Зверева, ничего. Они в растерянности — такое впечатление, что им точно сообщили, что Клюн лежит в ящике. Кто сказал? У меня есть кое-какие догадки на этот счет, но...

Они даже стали простукивать дно. Тогда уж я рассердился и говорю: "Знаете что? Разломайте ящик, и не нужна никому эта комедия". — Ладно! Упаковывайте".

Если бы ткани обнаружили, то это был бы, ужасный скандал.

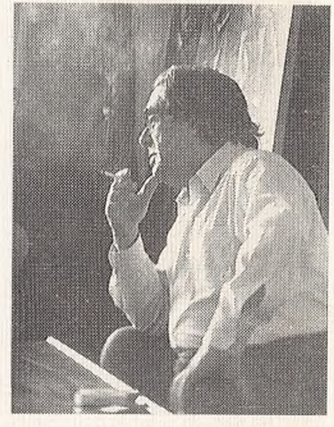
Приехал я домой, жене ничего не сказал, чтобы ее не расстраивать. Она спросила: "Ну, как?" Я говорю: "Все хорошо, все прошло, проехало".

Наши вещи благополучно пришли в Германию. Из Германии часть пошла в Грецию, часть на выставку в Дюссельдорф. Небольшое количество вещей я думал продать — мелкие, но на сравнительно большую сумму.

Однако впоследствии я передумал и, собравшись в Нью-Йорк, решил эти вещи отдать музею Гугенхайм для выставки. Подумал, если я оставлю, постепенно распродам, этих вещей не останется. Я взял с собой пакет — по тем временам он стоил, наверное, миллиона полтора долларов.

Приехал в Нью-Йорк. Был какой-то праздник, музей был закрыт и я не смог сразу передать туда то, что привез. А вещи как всегда не были застрахованы! Остановился в доме у своих друзей Ландо, Борис — сын, отец и мать. Отца с матерью не было, они куда-то уехали. Борис меня принял, отвел комнату на другом этаже. Я разместился, ночь прошла благополучно.

На следующий день Борис мне говорит: "Георгий Дионисович, не хотите в кино сходить? Тут по соседству очень хороший боевик идет, давайте пойдем, что дома сидеть". Собрались, поехали, посмотрели фильм, зашли куда-то поесть и возвращаемся домой. Борис достает ключ, вставляет в дверь, начинает открывать, а дверь не открывается. "Что-то, — говорит, — странно. Пойду посмотрю". Зашел он с другой стороны и кричит: "Кто-то тут был. Наверное, жулики!" А я свой пакет, что на полтора миллиона тянул, прямо на кровати оставил... Когда мы открыли дверь и вошли, первое, что заметили — шкаф распахнут, нет меховой шубы, пальто, еще каких-то вещей. Сердце у меня упало: "Ну, все, пропало дело..." Поднялись на второй этаж. Все ящики в столах вывернуты, все бумаги на полу, а мой пакет с Клюнами и Кандинскими на полтора миллиона долларов преспокойно лежит на кровати...



Имя Георгия Дионисовича Костаки — одного из крупнейших коллекционеров нашего времени хорошо известно в России и за рубежом. Он собрал уникальную коллекцию произведений художников русского авангарда первой трети XX века.

Г.Д.Костаки родился в 1913 году в Москве и большую часть жизни прожил в России, оставаясь греческим подданным. С конца 1930-х годов он начал собирать свою коллекцию, интересуясь антиквариатом и работами старых мастеров. Но в 1946 году его собирательские интересы резко изменились — именно с этого времени Г.Д.Костаки начал коллекционировать работы мастеров авангарда. Произведения В.В.Кандинского, К.С.Малевича, Л.С.Поповой, А.В.Лентулова, М.З.Шагала заняли значительное место в его собрании. В коллекции Г.Д.Костаки было представлено все разнообразие новых творческих исканий мастеров 1910-1920-х годов в области живописи, графики, книжной иллюстрации, театрально-декоративного искусства.

В 1977 году значительную часть своей коллекции Г.Д.Костаки передал в дар Государственной Третьяковской галерее. Многие из этих произведений экспонировались на крупнейших выставках как в СССР, так и за рубежом. Среди них "Москва-Париж", персональные выставки К.С.Малевича, В.В.Кандинского, П.Н.Филонова, Л.С.Поповой.

Особый интерес у поклонников русского авангарда вызвали работы из собрания Г.Д.Костаки на выставке произведений, принесенных в дар Государственной Третьяковской галерее, которая состоялась в 1986 году. Советскому зрителю были впервые показаны лучшие полотна из подаренной им коллекции. Среди них двусторонняя работа Л.С.Поповой "Динамическая композиция" /1919/, "Портрет художника М.В.Матюшина" /1913/ К.С.Малевича, "Ландыши" /1916/ М.З.Шагала, "Пейзаж. Мурнау." /1908/ В.В.Кандинского, "Головы. Симфония Шостаковича" /1927/ П.Н.Филонова, "Автопортрет" /1911/ И.В.Клюна.

Живописные и графические работы из коллекции Г.Д.Костаки не раз воспроизводились в больших монографических исследованиях, сборниках статей, посвященных проблемам русского искусства. В 1981 году в Нью-Йорке был издан каталог собрания Г.Д.Костаки под редакцией известной американской исследовательницы Анжелики Руденстайн.

Последние годы Г.Костаки прожил в Греции, в Афинах. Работы, которые он взял с собой, неоднократно экспонировались в разных городах мира, знакомя западного зрителя с творчеством русских художников.

Посвятив много лет собирательству, Г.Д.Костаки сформулировал для себя несколько правил коллекционирования. В частности, он считал: "Человек, связанный с искусством, никогда не должен торопиться с оценками, их расставляет время".